

Е. А.
САЛИАС

Сочинения



Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир

Аракчеевский подкидыш

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2370835*

Аннотация

«Аракчеевский подкидыш» – роман Е.А. Салиаса (1840–1908 г.), популярного писателя, которого современники называли «русским Дюма», впервые опубликован в журнале «Исторический вестник» за 1889 г. Роман повествует о дальнейшем развитии событий и судеб героев романа «Аракчеевский сынок».

Содержание

I	4
II	6
III	9
IV	12
V	17
VI	21
VII	25
VIII	29
IX	33
X	36
XI	40
XII	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Евгений Андреевич Салиас

Аракчеевский подкидыш

Исторический роман

I

Были последние числа октября. По большой дороге, недалеко от реки Волхова, двигался тихо дорожный экипаж. Зима еще не наступила, санного пути еще не было, но вся окрестность, освещенная полумесяцем, белелась сплошь покрытая тонким слоем снега, и только дорога черной полосой расчеркнула по полям пустынную белую равнину. Карета, запряженная четверкой «вольных» лошадей, могла бы двигаться гораздо скорей, так как дорога была отличная, но ямщик постоянно сдерживал и оглядывался. Ему было строго приказано не уезжать далеко от ехавших сзади двух бричек.

В карете сидел Шумский и рядом с ним Авдотья Лукьяновна. Они ехали из Петербурга в Грузино и теперь были от него верстах в трех. Шумский сильно похудел, побледнел, но, кроме того, в лице его совершилась какая-то странная перемена, которая бросалась в глаза. Взгляд, всегда упорный и пронизательный, вспыхивавший зачастую ярким огнем, теперь был совершенно иной. Взор как-то потух, уже не горел по-прежнему, но стал еще более жесткий. В нем не было прежней открытой смелости и беззаботной дерзости, а было лишь что-то сдержанно злое. На все лицо легла какая-то тень озлобления. Он даже держался иначе, сидел и двигался несколько сгорбившись, несколько поникнув головой.

По всей фигуре Шумского можно было догадаться, что над ним разразился такой удар, от которого большинство людей не оправляются, который можно пережить физически, но трудно пережить нравственно. Его мать изменилась тоже.

Ряд бессонных ночей, душевные муки и раскаяние в опрометчивом шаге, погубившем ее «божество» – все перечувствованное женщиной за это время от всех ее бесед с сыном, наконец, принятое им роковое решение, – все это подействовало на нее так сильно, что природа, хотя и крепкая, все-таки сдалась. Авдотья постарела сразу лет на десять. Еще недавно в голове ее лишь кое-где блестел седой волос, теперь же виски совершенно побелели, а на лбу легли две глубокие морщины.

Всю дорогу мать и сын ни о чем не говорили. Еще в Петербурге Авдотья Лукьяновна много раз принималась умолять Шумского не губить себя, не предпринимать никакого рокового шага, не терять своего положения, но он только печально улыбался и отворачивался. Женщина видела, что никакие силы в мире не заставят его изменить злобно принятого решения по отношению к мнимым родителям.

Теперь, уже приближаясь к Грузину, они молчали и за последнюю станцию в карете не было произнесено ни единого слова. Наконец, недалеко показались кое-где огоньки, а путь преградила вдруг река, темневшая среди ровных, отлогих берегов, частью покрытых мелколесьем.

– Вот и приехали, – тихо проговорил Шумский как бы сам себе и слегка взволнованным голосом. – Может в последний раз.

Авдотья вздохнула и ничего не ответила, но через несколько минут украдкой достала платок и стала сморкаться.

– Ты опять плакать, – выговорил Шумский. – Удивительный народ, бабы, то есть женщины. Как это вы можете реветь без конца все из-за одного и того же предмета. Ну, запла-

кала, обмочила слезами какой предмет со всех сторон. Ну, и довольно. А как же без конца-то?..

Очевидно молодой человек хотел пошутить, но голос его был грустный и хриплый.

– Михаил Андреевич, голубчик, Мишенька, – заговорила Авдотья. – Еще время одуматься. Не губи себя! Повидайся и уезжай опять в Питер. Ведь не уйдет. Всегда можешь с ними перетолковать. А ну как потом сам расскаешься.

– Матушка, – угрюмо и сурово отозвался Шуйский, – ведь я от тебя эти самые слова несколько сот раз слышал, а может и тысячу. Что же ты все повторяешь одно и то же. Сто раз ты всякими святыми угодниками мне божила даже не начинать снова этого разговора. И никуда твоя божба не привела. Лучше погляди, за нами ли брички.

Авдотья вытерла глаза и, опустив каретное стекло, высунулась в окно.

– Нет никого, – ответила она, снова садясь, – должно отстали.

– Так вели этому олуху обождать, – отозвался Шумский.

Авдотья снова высунулась и велела ямщику остановить лошадей.

Когда экипаж стал, мужик слез с козел, обошел свой четверик и, поправив кое-что в сбруе, снова лениво полез на место.

Шумский сидел недвижно и задумчиво смотрел в окно на полумесяц.

Авдотья искоса поглядывала на него, хотела заговорить, но боялась.

Через несколько мгновений две брички, запряженные тройками, приблизились к ожидавшей их карете. В передней сидели рядом две фигуры, в которых было что-то странное на вид. Всюду, где проехали они днем, народ невольно заглядывался на них, замечая что-то особенное.

При взгляде даже поверхностном на эти лица видно было, что эти путники находятся в исключительном нравственном состоянии.

Это были: Пашута и ее брат Копчик.

Шумский, давно собиравшийся послать в Грузино виновных, рассудил, наконец, привезти их сам, но теперь, приближаясь к вотчине графа, молодой человек еще не решил мысленно их судьбу и сам не знал, что он скажет о них Аракчееву. Просто ли привез он обратно его двух крепостных людей или же он скажет все, иначе говоря, обречет их на всякие пытки.

Во второй бричке ехал Шваньский, а с ним рослый солдат, взятый в Петербурге про всякий случай. Один Шумский знал, зачем он приказал Шваньскому застись таким адъютантом. Он опасался, что дорогой Пашута и Копчик сбегут, предпочитая сделаться беглыми, нежели возвращаться в кабалу графа и его любимицы.

Когда спутники подъехали, все три экипажа двинулись далее и, проехав около четверти версты, остановились на берегу, где был перевоз. Паром при их появлении отчалил к ним с противоположной стороны, где высились и белели здания и собор пресловутой Аракчеевской «мызы».

II

Шумский не сразу решился ехать в Грузино. За последнее время в его доме в Петербурге было мертво тихо. Около недели в его квартире жизнь, казалось, ничем не проявлялась и как бы замерла. Несмотря на то, что в квартире было до десяти душ обитателей, тишина никем и ничем не нарушалась по целым дням.

Вечеру все окна на улицу были темны, и только в угловой комнате-спальне виднелся свет. Шумский никуда не выезжал и никого не принимал. Он сказывался больным, но был в состоянии, конечно, во сто крат худшем, чем самая трудная болезнь. Его рассудок долго никак не мог свыкнуться с тем, что громовым ударом разразилось над ним.

Мысль, что его кормилица и нянька, хотя страстно любящая его со дня рождения, но глупая и нелепая баба, к тому же крепостная холопка, вдруг оказалась его родной матерью, эта мысль страшным гнетом давила разум и сердце, но не укладывалась ни в мысли, ни в чувства. Сознание возмущалось фактом.

Шумский надломленный, разбитый, не только нравственно пораженный, но совершенно уничтоженный, в первые дни не приходил в озлобление, у него не было вспышек ненависти и злобы, была одна беспомощность. Он был как бы смертельно ранен и к тому же убежден, что не найдет в себе средств бороться, что не сможет силой воли справиться с этой смертельной раной и выздороветь.

По сто раз в день повторял он мысленно или шепотом:

— Холоп крепостной! Хам!.. Да. Вот такое же хамово отродье, как Копчик и другие. Что толку, что артиллерийский офицер и флигель-адъютант... Дворянин, но из холопов!

Иногда закрыв лицо руками, он, как ребенок, тоскливо капризным голосом приговаривал:

— Да не хочу я этого, не хочу...

После того рокового мгновенья, когда Авдотья, почти бросившись ему в ноги, объявила ему, что она ему мать, Шумский двое суток не видал ее, ибо не мог заставить себя повидаться.

Сотни всяких самых нелепых намерений, мыслей и затей проходили через его разгоряченную голову. Он собирался и застрелиться, и топить, и ничего, ровно ничего не сделать. Последнее казалось ему, однако, самым мудреным. Как взбешенный человек и зверь, равно не могут удержаться спокойно на месте, так и Шумский теперь, пораженный в сердце, оскорбленный и потрясенный, не мог примириться с мыслью, которую подсказывало ему себялюбие.

Все бросить!

Нет. Надо было действовать и злобно, жестоко. Душа требовала мести. Кому? Всем! И виновникам его несчастья и позора и тем, кто неповинен в его горе, но виновен в том, что сам счастлив и никогда не был и не будет в таком унижительном положении.

И Шумский решился ехать в Грузино мстить.

На третий день после признания Авдотьи он, наконец, вызвал ее к себе, встретил ее у порога спальни и обнял... Но обнял молча, быстро, неловко...

Женщина горько зарыдала. Он потянул ее за руку и, тяжело переводя дыхание, усадил на диван и сел против нее, смущенно глядя ей в лицо, будто стыдясь сам своего взгляда.

— Расскажи мне все теперь, — шепнул он, наконец. — Всю эту адскую напасть, всю эту дьявольщину.

Авдотья поняла значение слов этих по-своему. Она стала рассказывать, как она доверила свою тайну Пашуте, думая этим заставить девушку, спасенную ею от смерти, действовать из благодарности в пользу ее родного сына и беспрекословно ему повиноваться.

Шумский прервал мать тотчас и объяснил, что он хочет иное знать, как попал в сыновья графу Аракчееву.

Авдотья Лукьяновна потупилась виновато, снова заплакала и, наплакавшись, начала рассказ.

Будучи еще девчонкой, она была в услужении у одного управителя – графского, но вскоре ее выдали в наказание за неказистого парня-бобыля.

Она зажила с мужем в деревушке верстах в десяти от Грузина, мирно и согласно, но бедствовала, так как земли им не дали, и они нищенствовали. Детей у нее было только две девочки, но обе недолго прожили. Прошло лет семь, и она вдруг овдовела, но, схоронив мужа, осталась после него беременной. Тогда к ней явилась одна женщина нежданно-негаданно. Это была старуха, ныне умершая, по имени Домна.

Познакомясь, Домна стала бывать часто, возила подарки и ласково подолгу беседовала с ней, «жалилась» над ее вдовьим сиротством и нищетой.

Наконец, однажды эта Домна Кондратьевна предложила ей устроить ее жизнь так, что всякий позавидует. Вместо худой избы и жизни впроголодь она будет жить в довольстве, счастии, даже богатстве... А будущий ребенок ее, если только он будет мальчик, а не девочка, будет ходить в шелку и в бархате, будет барчонком, а потом и знатным барином не ниже графа Аракчеева... Но все это может устроиться с условием отказаться от ребенка и передать его в чужие неведомые руки.

Авдотья Лукьяновна наотрез отказалась.

Через неделю Домна Кондратьевна явилась опять в деревушку и предложила другие условия. Ребенка не отнимут у нее совсем, а только «на словах», так как господа ее самой возьмут в дом в качестве кормилицы к младенцу, а потом оставят и нянькой при нем навсегда.

Авдотья Лукьяновна робела этой затее и готова была снова отказаться, но Домна Кондратьевна объявила ей, что в случае отказа на это предложение ее сживут со света и, по малой мере, «подведут под закон» и посадят в острог, а потом сошлют в Сибирь. А при этом при всем ее ребенок, конечно, помрет...

На замечание Авдотьи, что кто же посмеет ее, крепостную графа Аракчеева, пальцем тронуть, Домна объявила, что она именно и является из Грузина от лица самой графской любимицы Настасьи Федоровны, которая именно и сживет Авдотью в случае ее несогласия на этот уговор.

Узнав, с кем она будет дело иметь, куда возьмут ее ребенка и чем он станет, Авдотья, разумеется, испугалась насмерть. Но после долгих колебаний женщина должна была согласиться, так как другого исхода не было.

Домна Кондратьевна объяснила тогда подробно хитрую и преступную затею барской барыни графа.

Настасья Федоровна, видя, что не может иметь от графа ребенка, решила притвориться и сказать беременной, разумеется загодя, по расчету времени... Граф поверит, конечно, поверит ей на слово и ближе дело разбирать не станет.

Уговор сделан у Настасьи Федоровны с тремя крестьянками околотка помимо Авдотьи. Все они, конечно, находятся по расчету в одинаковом положении. У кого из них у первой родится мальчик, ту и возьмут в Грузино с ребенком. Если из них какая проболтается теперь, то ее тотчас же запорят насмерть или сошлют в Сибирь.

Авдотья, узнав все и согласившись страха ради, все-таки так маялась от всей этой затеи, так дрожала и болела сердцем за свое будущее детище, что собиралась даже бежать... Ее остановил сон.

Привиделся ей покойник Иван Васильевич, то есть муж, который сказал ей, что у нее родится девочка и все сойдет благополучно.

Однако, сон не сбылся. Напрасно Авдотья надеялась, что у нее будет дочь, напрасно ждала тоже, что которая-либо из других крестьянок разрешится от бремени мальчиком прежде нее.

Прошло восемь месяцев со дня знакомства и уговора обеих женщин и, однажды ночью Домна Кондратьевна приехала за Авдотьей и увезла ее в Гру́зино, как бы ворованную поклажу. Ее поместили в одной избе, но запретили казаться людям на глаза.

Недели за две до этого другая женщина, солдатка, родила прижитую на стороне девочку в этой же избе, но, как говорили, исчезла вместе с ребенком без следа... Через неделю после приезда Авдотьи жившая по соседству с ней баба, тоже привозная из деревни, родила тоже мальчика, но он умер на другой же день, а мать как сквозь землю провалилась.

Судьба хотела, Господь судил, чтобы именно детище Авдотьи явилось действующим лицом в преступной затее Аракчеевской барыньки.

Авдотья в свой черед разрешилась от бремени не только не девочкой, но даже здоровенным и красивым мальчуганом, кровь с молоком.

И через три дня тайком после полуночи она вместе со спрятанным в корзине ребенком очутилась во флигеле дома гру́зиновских палат и дико озиралась на все и на всех со страху.

Настасья Федоровна приняла ее ласково, тотчас легла в постель и начала стонать и кричать.

Под окнами сновала дворня, но при ней самой находились лишь три женщины: любимица Агафониha, Домна и привезенная в качестве кормилицы Авдотья...

На заре узнали в усадьбе и на селе, что Настасья Федоровна разрешилась от бремени сыном.

И тотчас же гонец поскакал в Петербург известить графа о радостном событии. Судьба даровала ему давно желанного наследника.

На всякого мудреца довольно простоты.

III

После этого рассказа или исповеди Шумский снова два дня не видал Авдотьи, снова сидел безвыходно в своей спальне, не впуская никого к себе.

За это время отношения его к матери как бы перерождались, озлобление стихало, наступило примирение с ней, ни в чем не повинной и любящей его.

Когда Авдотья кончила свой рассказ, Шумский не сразу отпустил ее. Он глубоко задумался и долго сидел молча перед ней, а затем едва слышно выговорил: «Уйди». Когда женщина была у дверей и переступала порог горницы, что-то вдруг шевельнулось на сердце молодого человека. Он вдруг протянул обе руки, хотел остановить эту женщину, будто хотел горячо обнять родную мать, но через мгновение махнул рукой и выговорил громче: «Ступай!» Теперь же он совестился, что сдержал тогда в себе добрый порыв сердца.

Однако, через два дня, выйдя в коридор и увидя в прихожей несколько фигур за самоваром мирно и тихо пьющих чай, а в том числе Копчика, швею Марфушу и ее, эту крестьянку, няньку, и родную мать, Шумский стал недвижно и долго глядел на нее через весь темный коридор. И вдруг сердце заныло и что-то шевельнулось в нем, что-то поднялось: краска ли бросилась в лицо или слезы просились на глаза. Он простоял несколько мгновений, но уже не глядя туда, а опустив голову и затем придя в себя, вернулся обратно в спальню.

– Это невозможно, – выговорил он вслух. – Так нельзя! Надо что-нибудь сделать? Ведь не могу же я... Ведь это невозможно... – и затем он прибавил несколько раз уже с легким раздражением: – Невозможно, невозможно.

Невозможным казалось ему то, что подсказало сердце. А оно подсказывало: сейчас же отделить в квартире комнату, устроить и поместить там не няньку, а мать и, одев ее самое иначе, обращаться с ней тоже иначе.

Но мысль, что мамка Авдотья станет жить у него барыней и матерью, все еще казалась ему затеей, фальшивой, смешной, неестественной.

Если чувства нет или то, что оно подсказывает, разум не оправдывает, то, конечно, и честный, сердечный поступок покажется одной комедией. Какое платье на Авдотью теперь ни надень, все-таки она останется крестьянкой и дурой мамкой.

На другой же день, однако, порядки в доме изменились.

Беглая девка графа Аракчеева Пашута, была приведена полицией к Шумскому, и Иван Андреевич Шваньский поневоле явился к барину с докладом, хотя тот и не позволял никому показываться на глаза.

– Прах ее возьми. Теперь она ни на черта не нужна! – сказал Шумский. – Все-таки запри ее где-нибудь.

И тотчас же Шумский обратился к Шваньскому с вопросом:

– Не вилай, отвечай прямо, Иван Андреевич, – выговорил он сурово. – Ты все знаешь?

– Все-с, – отозвался Шваньский, потупляясь.

– Знаешь, кто такая персона стала теперь Авдотья Лукьяновна? – грустно, но едко улыбнулся Шумский.

Шваньский начал было говорить, но запнулся.

– Сказывай, – резко произнес Шумский, – нечего юлить, небось, она с тобой не скрывается.

– Точно так-с, – заговорил Шваньский, – я очень убивался. Авдотья Лукьяновна у меня вечером сидела. Они знают, как я к вам всем сердцем отношусь и они мне поведали...

Голос Лепорелло слегка дрогнул. Шумский поднял на него глаза и увидел, что на лице Ивана Андреевича слезы. Это больно кольнуло его. Это сочувствие или соболезнование было оскорбительно. Возбуждать в ком-либо к себе жалость? Шумский не мог себе и пред-

ставить подобной мысли. А возбуждать к себе жалость в такой мрази, как Шваньский, это уже какое-то падение, кровное оскорбление, полный позор.

– Ну, не вой, как баба, – грубо выговорил Шумский. – Что я, помер что ли? Мне нужно дать ей горницу. Кроме твоей нет, стало быть, ты переезжай. Вестимо на время. Найми тут, поблизости комнату, а в твоей надо ей поместиться.

– Слушаю-с, тут на дворе две горницы отдаются.

– Ну, и переходи. А коли две горницы отдаются, то сделай милость, и Ваську с собой бери, чтобы он мне не служил. Из других людей, чтобы никто не смел ко мне входить. Надо найти какого вольного, чтобы нанять мне в лакеи. Этих рож я видеть не хочу. Нет ли бабы какой, горничной? Поищи. Стой, – вдруг воскликнул Шумский. – Пускай твоя Марфуша служит мне.

– Как же-с, Михаил Андреевич, – возразил смущенно Шваньский. – Дело не подходящее. Все-таки швея.

– Пустое, я ее не заставлю черную работу делать. Пускай только чай да обед подаст мне, чтобы мне никого из этих идолов не видеть, а убирать спальню найми простую бабу.

– Дело-то, Михаил Андреевич, не совсем для Марфуши... – начал было снова Шваньский.

Но Шумский отозвался тихо:

– Не рассуждай!

Слово было сказано таким голосом, что противоречить было совершенно излишне и опасно.

– Пошли ее сейчас сюда, – произнес Шумский после паузы.

– Авдотью Лукьяновну? – спросил Шваньский. Шумский встрепенулся, как бы испугавшись, и тотчас слегка рассердился.

– Болван! Авдотью Лукьяновну устрой в своей горнице и скажи, ну, от себя что ли, чтобы она ко мне не ходила. Пошли сюда Марфушу.

Шваньский стал было переминаться с ноги на ногу на одном месте, но потом двинулся к двери, взялся за ручку. Здесь он снова обернулся к Шумскому и трусливо выговорил:

– Марфушу послать?

Шумский поднял на своего наперсника глаза и пристально присмотрелся к нему.

Вероятно, Лепорелло ясно прочел что-нибудь в этом взгляде, ибо мгновенно юркнул в дверь, а через минуту на том же пороге стояла, смущаясь, Марфуша. Однако, за эту минуту мысли Шуйского унеслись так далеко, что, когда явилась молодая девушка, то Шумский слегка вздрогнул, присмотрелся пристальнее, потом отвел глаза в сторону, вздохнул и понурился. Нечто вторично случилось с ним. Пылкое чувство всколыхнулось от необъяснимого сходства пригожей швейки с нею, с красавицей.

– Марфуша, – выговорил Шумский, – ты перейдешь сюда на жительство и будешь служить мне, делать то, что Копчик, кроме всего трудного, грязного. На это дело наймут бабу.

– Угожу ли я? – едва слышно прошептала Марфуша. – Боюсь, не сумею.

– Вздор. А за то, что это не твое дело, за то, что тебя из швей в горничные произведут, я тебе дам приданое, коли ты все-таки за этого чучелу Шваньского замуж собираешься. Прослужишь у меня месяц, два, я тебе 500 рублей дам.

Марфуша оживилась и зарумянилась.

– Я не обману, коли раз обещал.

– Как можно-с! – громко воскликнула Марфуша.

– Что, как можно-с? Не хочешь? Что ж ты, дура совсем?

– Нет-с, я не про то. Я говорю, как можно, чтобы вы обманули.

– Так согласна?

– Как же, помилуйте, Михаил Андреевич. Ведь это совсем несообразно была бы. Я ведь не дура. С виду я такая, а я очень многое понимать могу.

– Так не хочешь стало?! – уже сердито вскрикнул Шумский.

– Напротив, счастье мне большое. Очень рада служить вашей милости. Только явите Божескую милость, обещайтесь одно только: не обижать меня опять тем же самым.

Шумский не понял и переспросил. Марфуша добродушно и наивно объяснила, что она всей душой рада служить барину и надеется услужить не хуже Копчика, но просит только не опаивать ее опять дурманом. Шумский грустно улыбнулся, вспомнив о своей дикой шутке. Сколько с тех пор воды утекло!

– Не бойся, Марфуша, – ласковее произнес он. – Служи, не ленись, разыщи какую простую бабу себе в помощницы и все будет хорошо. И ничем я тебя не обижу. Через месяц, два, когда все... – Шумский остановился. Он хотел сказать: «Все устроится» – и мысленно рассмеялся.

«Что же устроится? – подумал он. – Все наоборот расстроится, все пойдет к черту!»

– Через месяц или два, – снова заговорил он, – если соберешься непременно выходить замуж за этого мухомора Ивана Андреевича, то скажешь. Я тебе подарю приданое. Но не за твою службу, не за то, что ты горничную изобразишь несколько недель, а за то, чего ты и сама не знаешь...

Шумский поднялся, приблизился к Марфуше, взял ее за обе руки и потянул к себе. Девушка смутилась.

– За то, что ты, – взволнованным голосом произнес он, – так уродилась, что похожа лицом на другую, на одну барышню. Нет!.. Похожа на божество, которое живет на земле. Вот за то, что между вами обеими есть какое-то диковинное сходство, я для тебя все сделаю и теперь, и после. Между тобой и ею пропасть, да и лицо твое совсем не такое, как ее. Но издали, в сумерках... Ну да что говорить! Это не твое дело!.. Так вот поди скажи вновь Ивану Андреевичу про горницу для Авдотьи Лукьяновны. Потом скажи, угнать всю мою ораву вон из дома, чтобы мне не видеть никого из них. А ты берись сейчас и управляй всем в доме.

– Слушаю-с, – кротко и ласково отозвалась Марфуша, глядя в глаза Шумскому.

Молодой человек увидел в синих красивых глазах швеи, которые в полумраке так напоминали иной взор, неподдельное оживление, даже радость.

Марфуша была настолько обрадована предложением, что лицо ее просияло, стало таким, каким Шумский ни разу еще не видал его. Он удивился и, продолжая стоять перед ней, держа руками за обе руки, молча долго смотрел Марфуше в лицо. Кончилось тем, что девушка потупилась, затрепетала и опустила голову.

Шумский тоже понурился, вздохнул, тихо выпустил ее из рук и задумался.

– Я вам не нужна-с? – вымолвила Марфуша, взявшись за ручку двери.

– Покуда... нет... – отозвался Шумский, слегка улыбнувшись, и странным голосом, в котором была и кротость, и ласка, и печаль. – А потом, Марфуша, после... не знаю.

Девушка почуяла что-то в его голосе, но темных слов не поняла.

Она вышла, а он долго стоял, не двигаясь и не подымая тоскливо опущенной головы.

IV

В тот вечер, когда Шумский, примиренный с матерью, но озлобленный на весь мир Божий, переезжал на пароме Волхов и причаливал к берегу Гру́зинской мызы, ее владелец сидел у себя в кабинете за срочной и спешной работой. Но она была, видно, по сердцу. Граф был в духе... На столе перед ним лежала огромная и толстая книга, вся разграфированная, с клеточками и заглавиями в них. Надпись, вытесненная на переплете золотыми буквами, гласила:

«Винный журнал. 1-е октября 1810 год». На первом листе была надпись: «Кто, когда и за что наказан».

Эта «винная» или штрафная книга 14 лет аккуратно велась самим графом и была мудренее всякой бухгалтерии, ибо требовала особой внимательности и точности в своевременной записи и особой памяти для безошибочного действия по ней.

На столе же поодаль лежали в двух кучках маленькие карманные именные книжки, несколько замасленные. Это были «винные книжки» дворовых Гру́зина, которую каждый «раб» постоянно имел при себе. В случае провинности и крупной, и ничтожной, граф требовал книжку и тотчас вписывал в нее число, месяц и вину собственника, но при этом главная помета заключалась в словах: «в зачет» или «не в зачет».

Три малые вины «не в зачет» все-таки считались за одну большую, которая и помечалась: «вина трéшная». За каждую большую вину было особое наказание. За первую секли виновного конюхи простыми розгами на конюшне. За вторую виновный наказывался розгами, которые мокли в рассоле и имелись наготове в бочках на «деловом» дворе и в гру́зинской домашней канцелярии. Виновного третьей виной, хотя бы и «трéшной», то есть состоящей из трех сравнительно пустых и мелких вин, наказывали батогами при торжественной обстановке в библиотеке близ кабинета при зрителях, при барабанном бое. Секли два драбанта солдата, по имени Содомский и Иевлев, отличавшиеся ростом и силой. Это была их должность...

После третьего наказания счет вин начинался и записывался сызнава.

Каждый месяц в последних числах граф отбирал винные книжки у провинившихся, переглядывал их и собственноручно переписывал вины в большую книгу с разного рода отметками для памяти. Случалось, что просмотрев «винный журнал» и карманную книжку какого-либо «раба» граф писал приказ в канцелярию о сдаче его в солдаты или ссылке на поселение в Сибирь. Иногда же, раз десять в году, не более, виновный сажался в «эдекуль» — местную гру́зинскую тюрьму на неделю, на месяц. Этой эдекули, совершенно темной, глубокой и сырой ямы с каменными стенами, рабы графа боялись и трусили больше солдатства и Сибири. В эдекуле не умирали, но наживали смертельные болезни, от которых изнывали после, так как заключенному выдавалось в сутки лишь полфунта хлеба и кружка воды. А отрешение от людей, отсутствие света и воздуха, вечная ночь и сырой смрад производили то, что заключенный дичал и, выйдя, пугал внешним своим видом обитателей Гру́зина.

Граф сидел за работой с самого обеда, так как провинившихся оказывалось много, а надо было сообразить и взвесить множество обстоятельств для того, чтобы одному смягчить, а кому и усугубить наказание. Помимо библиотеки приходилось графу теперь вспомнить даже и об эдекуле.

Поглощенный своим делом, граф был вдруг неприятно отвлечен стуком экипажей на дворе и удивился. На его часах было десять часов, а все приезжавшие к нему в гости устраивались так, чтобы прибыть в приличное время и его не тревожить позднее сумерек.

Аракчеев недоумевал и досадовал, когда перед дверями кабинета тихо и осторожно, тенью, появился его камердинер и доложил, наклоняясь почтительно:

– Молодой барин пожаловали-с...

Аракчеев повернул голову к лакею, но не двинулся с места и молчал, будто обдумывая это неожиданное появление. Затем он выговорил сухо и не глядя:

– Доложи, пусть идут к Настасье Федоровне. Я приду...

Лакей попятился, скрылся задом наперед в дверь и осторожно притворил ее за собой, а граф снова углубился в свою работу.

Он брал книжки по очереди из одной кучки и клал в другую, записывая имя, число и месяц вины, саму вину, в чем она заключалась, и таинственную, ему лишь понятную помету, а затем и приговор в одном слове:

«Розги. Рассол. Батожье. Лоб. Сослать».

Однажды, перо его начало уже было выводить в графе приговоров слово: «эдекуль», но он смягчился, перемарал и написал: «лоб», то есть сдачу в солдаты.

Между тем камердинер вышел навстречу к Шумскому и, встретив его в первой же горнице, передал ему приказание:

– Пожалуйте к Настасье Федоровне, а граф сейчас прибудет.

Шумский остановился, постоял и, ни слова не говоря, повернулся на каблуках и двинулся в противоположную сторону к коридору, где были комнаты, в которых он всегда оставался. Это было его собственное отделение, где провел он свое детство и юность.

Приезд молодого барина, а с ним еще трех грузинских обитателей, оживил дом сразу. Давно уже грузинцы не видели этих прежних сожителей, но все вновь прибывшие: и Авдотья, и Пашута, и Васька, одинаково поразили всю дворню своими лицами. Все сразу догадались и поняли, что случилось что-то чрезвычайное, и приезд молодого барина, и возвращение их вместе с ним, не пройдет даром. Авдотью Лукьяновну многие почти не узнавали, настолько постарела она. Пашута и Васька смотрели дико, то уныло, то озлобленно. Если мамка так изменилась, то удивительного в этом не было ничего. Она объяснила, что хворала и была при смерти, и все поверили, хотя ранее об этом и слуху не было в Грузии. Но что случилось с Пашутой и ее братом оставалось загадкой.

Когда девушка и лакей прошли в людскую, дворня окружила их с объятьями и расспросами, но скоро тревога и отчаяние, написанные на их лицах, сообщились всем. Никто ничего не добился и не узнал от прибывших, но все пришли к убеждению, что там, в Питере, разразилась какая-то гроза и здесь в Грузии скоро, может быть завтра же, отзовутся громовые раскаты. Дворовые мальчишки и девчонки «на побегушках» и те заметили, что Пашута и Васька смотрят, как больные, как пришибленные или осужденные.

В то же время Авдотья Лукьяновна, смущаясь и робея, отправилась на половину Настасьи Федоровны Минкиной.

В большой угловой горнице, отделанной довольно просто, сидела за столом, накрытым скатертью, и пила чай барская барынька, или «Аракчеевская графиня», как иногда ее называли в шутку Петербургские сановники.

При вечернем освещении женщина эта, которой было уже за сорок лет, казалась еще довольно моложавой. Курчавая голова без единого седого волоса, черная, вороного крыла, высокий слегка выпуклый лоб и красивые дугобразные брови над блестящими южно-черными глазами, наконец, смуглый, но чистый и ровный цвет лица делали из нее женщину все еще пригожую, с ясно видимыми остатками недавней красоты. Единственно, что портило общее впечатление, была известная полнота, атрибут женщин ее положения, образа жизни и лет. Когда-то, двадцать семь лет тому назад, она явилась в Грузию юной и стройной женщиной, казавшейся девочкой-подростком, так как несмотря на замужество ей было лишь шестнадцать лет. Постепенно из веселой, подвижной, страстной и хитрой юницы, благодаря образу жизни, она переродилась в полную, ленивую, дородную барыню. Вдобавок, в смуг-

лом лице этой женщины было нечто, чего, конечно, не замечали граф и гру́зинцы, но мог бы легко заметить всякий посторонний, несколько проницательный наблюдатель.

В чертах чистого без единой морщинки лица лежала печать какой-то усталости или изнурения. Это выражение является после трудной болезни, или после многих бессонных ночей, или от усиленных занятий. А между тем, у Настасьи Федоровны ни того, ни другого не бывало. Она не была никогда больна, спала много и целый день ровно ничего не делала.

Выражение это явилось последствием ее привычки, ее порока. Впрочем, этот порок был хорошо всем известен не только в Гру́зине, но и многим высокопоставленным лицам Петербурга. Уверяли, что будто бы один граф Аракчеев не знает этого, но ошибались. Граф отлично знал, что его обожаемая сожительница каждый вечер, а иногда и с сумерек, предается своей страсти к крепким напиткам.

В этот вечер, сидя у себя и собираясь пить чай, Настасья Федоровна точно так же услышала стук экипажей на дворе и тоже недоумевала о том, кто может в эту пору осмелиться прибыть в гости в Гру́зино.

Когда горничная доложила ей о прибытии молодого барина вместе с Авдотьей Лукьяновной, с Пашутой и с Васькой, Минкина широко раскрыла глаза.

– Вот как, – произнесла она, и в голосе ее прозвучала насмешка. – Воистину, как снег на голову. – Зови сюда Авдотью, – прибавила она.

Через несколько минут Авдотья Лукьяновна вошла в горницу и, переступив порог, остановилась у двери и низко поклонилась экономке.

– Здравствуй, Авдотья, давно не видались, – сухо произнесла та. – Иди сюда, садись.

Авдотья двинулась молча и села на стул. Настасья Федоровна оглядела ее с ног до головы и стала расспрашивать про столичные новости. Женщина, конечно, постаралась удовлетворить любопытство экономки, как могла. Но едва только началась их беседа, как лакей отворил дверь настежь и сам скрылся. Через мгновение на пороге показался сам граф и, сумрачно оглядев всю горницу исподлобья, удивился и выговорил:

– А Михаил?

– Он не приходил. Он, стало, в своих горницах. А я думала, что он у вас, – отозвалась Минкина, вставая.

– Я велел ему идти к тебе.

– Не был-с...

Граф постоял мгновение, сдвинул брови и, повернувшись по-солдатски на месте, вышел снова.

Та же рука какого-то лакея снова протянулась и затворила дверь.

– Ну, вот, на почине, он ему и задаст сейчас, – выговорила Настасья Федоровна. – Видно, матушка, наш Михаил Андреевич все тот же. Горбатого исправит могила. Я, чаю, здоровья еще в Питере потерял много, а упрямства своего не потерял. Слышал приказание ему идти сюда, а все-таки, на смех, в свои горницы прошел. Стало быть все тот же козел.

– Уморился с дороги, – заметила Авдотья.

– Мало что... Уморился? Граф приказывает, так всяк, хоть помирай, а исполняй. Ну, садись, рассказывай! Дать тебе, что ли, чаю?

– Позвольте, – выговорила Авдотья.

Женщины снова сели на свои места, и на разные вопросы Настасьи Федоровны о Шумском Авдотья отвечала уклончиво и нерешительно. Казалось, что она робеет этих вопросов и всячески обдумывает свои ответы, как бы боясь сказать что-либо лишнее. Через несколько минут Настасья Федоровна, положив локти на стол, оперлась и, пристально поглядев в лицо мамки, выговорила:

– Авдотья. А ведь у тебя что-то на уме? Тут что-то неспроста. Ты виляешь на словах... а в голове у тебя что-то есть. Что ты укрываешь?

Авдотья опустила глаза и молчала.

– Что же? Долго ты будешь баловаться? – произнесла Минкина вдруг, оживясь и вся вспыхнув. – Когда же ты скажешь, что у тебя в башке сидит? Что ты из себя дуру-то корчишь?

– Увольте, Настасья Федоровна, – глухо выговорила Авдотья. – Завтра Михаил Андреевич сам все вам расскажет.

– Так пошла вон, дура! – вскрикнула вдруг Минкина, и когда Авдотья вышла, она, оставшись одна, начала браниться вслух.

В это же самое время на пороге горницы Шумского, точно так же в растворенную заранее лакеем дверь появился граф. Шумский сидел в кресле в углу, прислонясь к спинке и закинув голову. Он сидел, закрыв глаза, чувствуя некоторую усталость от дороги.

Граф остановился близ дверей, заложив правую руку за борт сюртука и грозно поводя глазами по комнате.

– Спишь, что ли? – выговорил он.

Шумский открыл глаза, присмотрелся и поднялся с кресла, но медленно и как-то гордо. Граф не двинулся, ожидая, что сын подойдет и, по обыкновению, поцелует у него руку, но Шумский сделал два шага, поклонился и выговорил тихо:

– Здравствуйте.

Наступила пауза. Аракчеев недоумевающим взглядом смотрел на молодого человека.

– Что же к матери не пошел поздороваться? Тебе передали мое приказание! – Выговорил он наконец.

– Я очень устал с пути, – отозвался Шумский.

– Какой сахарный. Коли мог проехать столько верст, так мог бы пройти несколько горниц, чтобы с матерью повидаться, не выдавши ее сто лет.

– Конечно, я мог дойти до горницы Настасьи Федоровны, – отозвался Шумский глухо, – но не счел этого нужным.

– Что? – произнес Аракчеев едва слышно.

Он был поражен резким ответом, а главное тем именем, которое давал Шумский Минкиной.

– Настасья Федоровна?.. А я, стало быть, буду тебе теперь вашим сиятельством. Что ты очумел? Ведь тебе кутеж видно голову просверлил. В уме ты?

– Слава Богу, в полном рассудке, – отозвался Шумский.

Наступило молчание, оба стояли друг против друга. Наконец, Шумский выговорил холодно:

– Позвольте, я завтра все разъясню вам.

– Разъяснишь? Что?

– Все, – отозвался Шумский.

– Да что все-то?

– Завтра узнаете.

– Да что ты загадки загадываешь! Что ты балуешься?! Стоишь истуканом и брешешь.

Шумский тяжело вздохнул и вымолвил:

– Завтра, утром ли, ввечеру ли, когда прикажете, я все объясню вам, а теперь я слишком устал. Да и самое дело слишком важно. Надо собраться с мыслями.

Слова эти были сказаны с таким оттенком, который удивил Аракчеева. Он поглядел еще раз пристально на молодого человека, насмешливо пожал плечами и, круто повернувшись, вышел так же, как и из горницы Минкиной.

Через час времени всеобщее оживление, вызванное в доме приездом молодого барина, понемногу стихло, отчасти благодаря позднему часу и привычке грузинцев ложиться рано спать, отчасти и потому, что лица всех приезжих навели уныние на всех дворовых.

Гру́зинская дворня разошлась спать в тревожном состоянии: «Быть чему-то! Стряслось что-то!» А всякая беда в Гру́зине захватывала не одного, не двух человек, но непременно всех, и правых, и виноватых.

V

Часов в двенадцать хоромы, двор и окружающие надворные строения, все безмолвно стояло под покровом темной ночи. Полная тьма и полная тишь прерывалась только каждые полчаса завыванием чугунной доски среди двора от мерных ударов по ней сторожа. Гру́зинскую сторожевую доску все в околodge знали и все равно дивились ей. Станный в ней был звук. Не просто гудела она по ночам, как всякая другая, а жалобно ныла и завывала, будто плакался загробный голос какой. Сказывали и во дворе, и на селе, что когда сторож бьет в доску, то не она звучит, а подают голоса среди ночи те многие и многие несчастные, загубленные суровым графом и его любовницей-людоедкой Настасьей Федоровной.

Около полуночи какая-то фигура с черной бородкой, в длиннополом кафтане, картузе и с синеватыми очками на носу, шла из хором с фонарем в руках по небольшой крутой лестнице, по которой мало и редко кто в доме ходил. Сойдя вниз на крылечко через маленькую дверку, фигура потушила фонарь, поставила его на пол и, озираясь среди тьмы, сошла с крылечка на двор. Пройдя от дома до здания, именовавшегося «деловым двором», человек этот присмотрелся издали и прислушался.

Сидевшие у ворот два ночных сторожа тихо беседовали. Незнакомец осторожно подкрался за угол здания и стал прислушиваться. Один из двух сторожей угрюмо, со вздохами поучал другого.

– Что же? Все так-то на свете. Народ – темнота и не понимает. Вот лошадь, нешто не работает, хотя бы даже корова и ту, стало быть, доят. Вот собакам жить розно: иная собака дворная сторожит, другая на охоту ходит, птицу убитую подает, а другая у барыньки какой на коленочках почивает. Всю жизнь она проживет, якобы сама барышня какая. А наше дело, чем плохо. Что ночью не спишь? Зато днем выплещись. Зато ночным делом мы и от графа якобы подальше. Знай, в свое время отхватывай в доску, он доволен и тебе нехудо. А кто по близости к нему обретається, гляди, все под розгами воет. А я вот ни одна не порот!

Собеседник ответил несколькими словами, которых расслышать было нельзя.

– Нет, братец мой, – отозвался первый, – шалишь. Это ты вновь так рассуждаешь, а я тебя обучу. Этого ты и думать не моги, он завсегда знает. Этак было ужас, Петрушка Косой пропускал разы, стучал в доску как попадетсЯ, то через час, а то отдрыхнет да зазвонит через два часа в третий. Так его через неделю до бесчувствия отодрали и махнули. И куда он девался, никому неведомо. Кто говорит – помер от розог, а кто говорит – в Сибирь пошел. Нет, ты этого не моги думать. Спит он или не спит, кто его знает, а он завсегда звону счет ведет. Избави тебя Бог не стучать кажинные полчаса.

Собеседник опять вставил несколько слов и получил ответ.

– Это верно. У нас пролазов-предателей тьма. Вестимо, ему докладает кто и про сторожей, а сам он спит. А нам-то что же, что над нами ухо и глаз есть. А ты парень стучи, как полагается, и не бойся. Хоть и лих он, а все же зря, тоись, совсем зря не обидит. Бывает, что и зря накажет обмахнувшись, но тогда оное в зачет идет. Меня три года тому назад страсть как выпороли, но я этого дранья не считаю, потому обшибкой вышло и за то мне в зачет пойдет. Если теперь провинюсь, то на смазку выйдет. ЗагодЯ, стало быть, заплатил за свою впредь будущую вину. Но все ж таки я по этому покудова и сказываю, что я якобы порот еще не был.

Фигура, прислушивавшаяся за забором, вернулась назад, через двор двинулась в сад и, приблизясь к маленькой калитке, достала ключ из кармана, отворила ее и вышла наружу, на село. Незнакомец поправил очки, нахлобучил картуз еще больше на лоб и двинулся быстро, постукивая тоненькой тростью, которая изредка, попав на камень, издавала звенящий звук, так как была железная и весом тяжелая.

Пройдя улицу, где была полная пустота, незнакомец повернул в проулок и пошел задами домов. Всюду, где он проходил, он пристально вглядывался в окружающее, изредка останавливался, прислушивался, иногда пробовал заперты ли ворота или двери домов и надворных строений и шел далее. Там, где в окошках светились огоньки лампад, он приостанавливался и заглядывал в окна.

Пройдя довольно далеко задами и уже как бы собираясь повернуть в другой проулок, чтобы выйти на главную улицу, он вдруг увидел приотворенную калитку. Он подошел, ощупал и нашел два кольца и висячий замок с ключом, висевшим лишь на одном кольце. Он осторожно отворил калитку и вошел во дворик.

Пройдя немного вправо, потом влево, и оглядевшись, он увидел прислоненные к сарайчику лопату и метлу. Он усиленно покачал головой, как если бы увидел нечто чрезвычайно исключительное. Он взял метлу и лопату, осторожно вышел с ними на улицу, причем снял замок с калитки и положил его в карман. Он двинулся далее, но уже прямо в поле. Пройдя сажень сто, он стал искать глазами, прошел вправо, потом вернулся и опять двинулся.

Наконец, среди темноты завидя что-то черное, он прямо направился к этому месту. Здесь была куча мусору близ выгребной ямы.

Бросивши лопату и метлу наземь, он быстро своей железной палкой зашвырял и то и другое сором, затем присмотрелся и, видя, что хорошо зарыл оба предмета всякими отбросами, шибче и как-то веселее пошел обратно. Войдя снова в слободу и, пройдя несколько шагов по главной улице, он увидел свет в окне. Внутри громко говорили, шумели, спорили и бранились. Он стал прислушиваться, но, кроме отдельных слов, не мог разобрать ничего. Часто повторялись слова: «граф» и «пойду» и имя «Антошка».

Постояв немного, незнакомец осторожно двинулся далее по направлению к барскому дому.

В довольно большом здании среди слободы четыре окна были освещены и над входом была вывеска. Тут помещалась грузинская аптека.

Незнакомец вошел на крыльцо, осторожно приотворил дверь в аптеку и глянул внутрь. За прилавком стоял молодой, лет двадцати, аптекарский помощник, а на лавке дремал старик-крестьянин и сидела, сгорбившись, женщина, повязанная платком.

Тщательно осмотревшись, человек этот вошел в аптеку и вежливо, почти подобострастно, выговорил:

– Господин аптекарь, позвольте мне малость горчицы для горчичника.

Аптекарский помощник, приготовлявший какое-то лекарство, отозвался тихим, ленивым, отчасти сонным голосом:

– Присядьте.

Незнакомец сел на скамейке поодаль от сидевших на ней и спиной к свету. Молодой малый продолжал свое дело тихо, неспеша. Очевидно, что сон сильно клонил его, так как он зевал не переставая, причем отчаянно завывал, изредка приговаривая:

– Ах, пропади ты! О-ох, идолы!

По движениям молодого малого, по опущенным глазам, поникнутой на бок голове, по всему лицу, было видно, что он не только находится в полусонном состоянии, но отчасти изнурен бессонницей. Прошло минуты две полной тишины, которую только нарушал аптекарь, то зевая, то постукивая чашечками или гремя пузырьками. Но он не глядел никуда и не спускал глаз с тех предметов, которые были у него в руках.

Чернобородый в очках внимательно, пытливно и упорно разглядывал малого и, быть может, этот долгий и пристальный взгляд магнетически заставил, наконец, аптекарского помощника поднять на незнакомца глаза.

– Снимите картуз! – промычал он апатично и снова опуская тотчас же глаза на работу.

– Вы это мне-с? – отозвался незнакомец.

– А то кому же? Я что ли в картузе?

– А почему же мне снимать его?

– Первое, потому, что здесь, вон видите, святая икона в углу, а второе, потому, что здесь – графская аптека. Сюда нельзя влезать, как в кабак.

Незнакомец не двигался и очевидно затруднялся исполнить данный совет. Прошла минута, молодой малый продолжал стряпать, затем снова поднял глаза и приостановился работать.

– Вы что же, господин, на русском наречии не понимаете? Вам сказано: снимите картуз. А не желаете, я вас попрошу вон и никакой горчицы вам не дам.

Незнакомец нехотя снял картуз и покосился на всех.

– На вот, – прибавил аптекарь, подавая крестьянке пузырек с лекарством.

– Как же с им быть-то, родненький? – спросила баба. – В нутро его. Пить? Аль мазаться?

Аптекарь терпеливо растолковывал женщине, как принимать лекарство. Баба оказалась совсем несообразительная. Раз три принимался он объяснять и, наконец, растолковал.

– Спасибо, родненький, – поклонилась женщина. – А то, ведь, лекарство возьмешь, а как с ним быть не знаешь. Вон у меня в прошлом году тетка Арина чуть не померла. Дали ей тутотка мазь, а она ею облопалась.

– От того все это, что вы дуры, – произнес аптекарь добродушно.

– Мы-то дуры, да больно сердит Густав Иванович. Сунет в рыло посудинку и гонит вон, а пояснить не хочет. Не время, вишь. Спасибо тебе! Стало быть, через кажинные шесть часов?

– Да ты брось, баушка, часы-то, – уже нетерпеливо произнес молодой малый. – Какие у вас часы. Нешто вы это можете знать. Ты дай ей поутру, дай среди дня, да дай вечером.

– Можно тоже и ночью?

– Дай. А коли спать будет, не буди.

– Ну, прощай. Спасибо, родной!

Крестьянка вышла вон.

– Это вы что же, господин аптекарь, выясняете им, – заговорил незнакомец, – нешто доктора нет у вас в Грузине?

– Есть, – лениво отозвался аптекарь. – Да народ-то глуп. Им надо в башку-то, всякое, раз двадцать вдолбить.

– А скажите, пожалуйста, как мне доктора разыскать. Я здесь проездом, остановился на ночь, да вот прихворнул, а утром надо ехать дальше.

Молодой малый толково, но снова не спуская глаз с пузырька, в который наливал какую-то микстуру, объяснил, где помещается грузинский госпиталь, и живет доктор.

– Хороший он человек? – спросил незнакомец.

– Кто его знает! Кто хвалит, а кто ругает. Я не знаю. Я здесь только две недели, как получил должность аптекарского помощника, никого и ничего не знаю. Да, должно быть, не придется и узнавать ничего. Отходить надо.

– Что ж так?

Молодой человек с большим оживлением или, вернее с ожесточением, начал рассказывать, как аптекарь играет в карты до трех часов утра, спит потом чуть не до полудня, оставляя его одного орудовать. Днем даст выспаться ему три-четыре часа и опять посылает будить, так как отправляется обедать или чай пить, или в гости, чтобы опять за карты засесть.

– Совсем смотался! Это не жизнь! Я от дела своего не отказываюсь, да ведь и собаке отдых есть! – раздражительно закончил аптекарь, снова зевая во весь рот.

– А вы бы графу доложили, здешнему помещику, – заметил собеседник.

– Как я к нему полезу, – пробурчал малый. – Это выходит, стало быть, идти с доносом. И как же графу нас разобрать. Аптекарь на службе который год уже здесь, а я без году неделю. Кому же граф поверить должен?

– Правда ваша. Да и к тому же, граф ваш, как сказывают, поедом народ-то ест. Людоед!

– Сказывают так, – отозвался аптекарь, – а я полагаю, что все то вранье. Строг-то он, строг, порядок любит, за всякую соринку на улице драть велит. И хорошо делает.

– Как же это, хорошо? – удивился незнакомец. – Жестокость это – за пустое взыскивать и по пустякам наказывать...

– Таков порядок на свете. Народ – свинья! Ты заставляй его делать, что следует, учи и наказывай, он же тебе потом в ножки поклонится за ученье.

– Да, а все-таки граф-то людоед, – настойчиво повторил незнакомец.

– Вы, сказываете, проезжий? – спросил аптекарь. – И в Грúзине никогда не бывали?

– Нет-с не бывал. В первый раз.

– Почему же вы так утвердительно говорите, что граф наш людоед?

– Это всему миру известно, по всей России. Все так сказывают.

– А вы мне скажите, каких он людей съел? Кого, тоись, безвинно погубил?!

– Я знать не могу.

– Как же вы говорите о том, чего не знаете. Надо говорить о таких предметах, которые знаешь. Да и что же это такое? Приехали вы в Грúзино, пришли в эту аптеку, которую устроил сам граф для пользы обывателей и тут же его поносите, а я должен слушать. Ведь вас надо взять за шиворот и вытолкать вон без всякого лекарства.

Окончив эту отповедь, молодой малый швырнул на прилавок перевязанную тесьмой коробочку и выговорил:

– Получайте вашу горчицу!

Незнакомец встал, подошел к прилавку и полез в карман за деньгами.

– Сколько полагается? – спросил он ухмыляясь.

– Четыре копейки.

Незнакомец положил на прилавок пять копеек, взял коробочку и быстро направился к дверям.

– Чего же вы бежите? А сдачу?

– Ну, что там, одна копейка-то; Бог с ней, – проговорил незнакомец. – Себе возьмите. – И он направился к выходу.

Видя, что незнакомец собирается уйти, аптекарь бросился к двери, стал у порога и выговорил, вспыхив:

– Слушайте, берите сейчас свои деньги. А без этого не выпущу. Вишь, пряткий какой. Всех тут облаял, наболтал всякого вздора, да еще подает мне, словно нищему, копейку. Знаете ли, что следует за это сделать с вами?

Незнакомец торопливо вернулся, взял копейку с прилавка и двинулся из аптеки. Аптекарь отступил от двери и, пропуская его мимо себя на улицу, пробурчал чуть слышно:

– Эх, как бы я тебе наклепал в шею!

Незнакомец быстро зашагал по улице, обошел издали барские хоромы, завернул к ограде сада и опять той же калиткой, тихо и осторожно прошел во внутренний двор. Через несколько минут он был уже на крыльце и зажигал фонарь. Поднявшись по лестнице во второй этаж дома, он тихо прошел весь коридор и, завидя в дверь полуосвещенную горницу, потушил фонарь. Затем, пройдя еще две горницы, он вошел в кабинет вельможи и временщика. Здесь он сбросил на стол бороду, картуз, синие очки и сел в кресло, самодовольно улыбаясь.

Это был сам Аракчеев.

VI

На другое утро, около десяти часов, проснувшийся Шумский позвонил человека и потребовал трубку. Несмотря на все пережитое и перечувствованное за последнее время, Шумский все-таки не потерял своей привычки начинать курить прямо спросонок, еще в постели. Человек из грузинской дворни, прислуживавший ему, спросил: намеревается ли барин кушать чай у себя или отправится к Настасье Федоровне?

– Это что за опрос такой? – выговорил Шумский. – Когда же это я по утрам у Настасьи Федоровны чай пил?

Лакей несколько опешил и выговорил виновато:

– Оне вас, слышал я, поджидают к чаю утрешнему.

– Ну, и пускай поджидает. Прикажи подавать сюда, а сам приходи меня одевать. Да только, пожалуйста, поскорей все сообрази, да попривыкни смекать. Не люблю я обучать.

– Нешто прикажете мне за вами ходить, а не Василью?! – удивился лакей.

– Нет, я Васьки не хочу. Он будет тут другим делом занят, что граф прикажет. Мне его не нужно. Мне из вас кого-нибудь надо порасторопней.

– Слушаюсь, – ответил лакей, недоумевая.

Шумский оделся, сел пить чай, выкурил пять или шесть трубок, совершенно задымив комнату, недвижно сидел в кресле, глубоко задумавшись. Несмотря на несколько осунувшееся лицо, усталый, тускло-мерцающий взгляд, он чувствовал себя гораздо лучше, нежели вчера.

«Если так пойдет, – думалось ему, – так я недельки через две совсем молодцом. Совсем телесно и душевно справлюсь. Да на что оно мне теперь без Евы... Как это так глупо на свете бывает, что не умирает человек, когда нужно. Какого мне черта теперь делать на свете. Как не рассуждай, а следует всячески постараться помочь фон Энзе меня убить! И себя он одолжит, да и меня тоже». И, глубоко вздохнув, Шумский заговорил шепотом:

– Да, рухнуло! И как рухнуло. Я думаю, что если бы башня Вавилонская сразу развалилась, то не было бы от нее такого грома и треску, какой я чувствовал в себе, в душе, в голове, когда она призналась и мне все сказала. Если бы верить, что это наказание Божие, как иной дурак, так мне бы легче было. Делал всякие гадости, ну, и наказан, тут есть здравомыслие. Но если добра и зла на свете собственно нет и, стало быть, я зла делать не мог, то почему же все это? За что?! Где справедливость: заварили кашу дуболом и пьяная баба, а я расхлебывай!.. Ну, вот теперь и надо по мере сил постараться, чтобы и они подсели вместе со мной хлебать. И заставлю я вас, Ироды! – вдруг выговорил Шумский громко. – Да, заставлю вас хлебать вместе со мной. И, может быть, вы еще пуще меня нахлебаетесь, треснете от моего угощения. Прогони он тебя из Гру́зина, и я буду удовлетворен.

Шумский порывисто поднялся с места, прошел по горнице несколько раз и кликнул снова лакея. Сняв халат, он надел сюртук без эполет и пошел было из горницы, но на пороге он остановился и обратился к лакею:

– Ты! Сбегай к Настасье Федоровне, скажи, что я к ней иду.

Лакей побежал, а Шумский медленным шагом последовал за ним. Все время, что он шел по коридору, на его сумрачном лице отражалась странная улыбка. Всякий посторонний, приглядевшись к ней, назвал бы ее дьявольской усмешкой, столько горечи, злобы и ненависти было в ней. Недалеко от горниц Настасьи Федоровны лакей встретил Шумского и заявил, что барыня просит пожаловать. Шумский прошел еще несколько дверей и вступил в маленькую горницу, с мебелью красного дерева и со множеством цветов и зелени в горшках и трельяжах. Это была гостиная фаворитки. Настасья Федоровна стояла среди комнаты и, когда Шумский вошел, она двинулась навстречу к нему, собираясь обнять его и поцеловаться.

– Здравствуй, Миша, – произнесла она однозвучно, без всякого выражения, как бы машинально.

Но в тот миг, когда Настасья Федоровна подняла руки на молодого человека, он тоже протянул руку и выговорил тихо и спокойно:

– Это не нужно.

Настасья Федоровна гневно закинула голову, слегка глянула на него и глаза ее блеснули ярче. Но она тотчас же отвернулась и отошла, затем села и вымолвила несколько насмешливо:

– Милости просим, садитесь, господин фригер-тютент.

– Пора бы выучить название, – грубо выговорил Шумский, садясь на стул.

Наступило молчание. Шумский огляделся, перешел на кресло более спокойное и прислонился к спинке, как человек усталый.

Настасья Федоровна не спускала глаз с него и, покуда длилась пауза, разглядывала внимательно и упорно с головы до пят.

– Да, здорово изменился! Точно будто побывал на волоске от смерти, – произнесла она, наконец. – Неужто же это все от столичной веселой компании?

– Да, – отозвался Шумский злобно, – на дурацком волоске и сердцем, и разумом висел. Кабы умен был этот волосок, так оборвался бы. И мне бы лучше было, да и вам тоже, коли бы я с ума спятил или застрелился...

– Что ты это? Как же это лучше-то было бы? Твоя воля, если тебе угодно беситься с жиру, привередничать и не радоваться своей жизни. А мне-то почему лучше было бы? Ты меня не радуешь ничем, но все же мне не мешаешь на свете жить.

– По сю пору не мешал, Настасья Федоровна, а теперь, должно быть, помешаю! – странным голосом, спокойным, но резко твердым, проговорил Шумский, с ненавистью оглядывая женщину.

Настасья Федоровна широко раскрыла глаза. Главное, удивившее ее, было то, что Шумский не называл ее «матушкой», как всегда, а по имени и отчеству.

– Ну-с, – начал Шумский, тяжело вздохнув и как бы собираясь с силами. – Давайте разговаривать. Разговор будет у нас очень короткий, потому что с глупыми бабами долго болтать нечего, да и дело, которое я до вас имею, уже очень простое дело. Позвольте узнать от вас довольно важное и любопытное для меня обстоятельство. Чей я сын?

Настасья Федоровна сразу как бы оцепенела, потом изменилась в лице и хотела отвечать, но губы ее задрожали.

– Это что ж такое? – пробормотала она. – Это ты опять тот же вздор затеял, что когда в Пажеском был?

– Нет, не опять то же. Когда я еще пажом был, я спрашивал у вас, почему граф именуется Алексеем, а я именуюсь по батюшке Андреевичем. Я понял тогда, что я незаконнорожденный сын графа Аракчеева, утешился вскоре и даже об этом и думать забыл. Я остался в полном убеждении, что я все-таки родной сын графа и ваш. Теперь я желаю, чтобы вы мне снова прямо отвечали на мой вопрос: чей я сын?

– Графский.

– Ложь. Нахальная и преступная выдумка! – вскричал Шумский.

– Что ты путаешь? Даже сообразить ничего нельзя, – смущенно заговорила Минкина. – Я не пойму. Хорошо, тогда мальчишкой был, а теперь большой человек. Вранья наслушался и приехал со мной о вранье губы полоскать.

– Я вас убедительно прошу, Настасья Федоровна, – спокойно заговорил Шумский, – не ломаться, не юлить, говорить прямо, толково, и говорить правду. За этим я теперь и приехал в Грузино. Вы меня, кажется, хорошо и давно знаете. Неужели вы думаете, что я удовольствуюсь вашим кривляньем и увертками и уйду, ничего не добившись. Объясните мне толково,

зачем я, будучи еще младенцем, очутился в этом проклятом доме, в этом проклятом Грузине, где нет ни одного счастливого человека – от новорожденного до столетнего старика.

Настасья Федоровна уже давно достала платок из кармана, вытерла губы и нос, как будто хотела заплакать, но подобного с ней никогда не случалось. Она умела плакать только в минуты гнева и со злости.

– Вы не желаете отвечать и говорить со мной? – произнес Шумский. – Так я сам вам все расскажу.

– Я не знаю, что говорить. Ты спрашиваешь пустяки. Я тебе говорю, что сын ты графа и мой, всему свету это известно. Что же я буду еще объяснять?!

– Никому ничего не известно, – отозвался Шумский. – Наверное никто ничего не знает. Но весь Петербург, уже не говоря о Грузине, всегда поговаривал, что я не сын графа Аракчеева, что я только ваш сын, а кто мой отец – неизвестно. Но и это оказалось вздором. Ну, вот я теперь и говорю вам: я не сын графа, но и не ваш!

– Что ты! что ты! – неестественно фальшивым голосом воскликнула Настасья Федоровна, но лицо ее все более бледнело, рука, державшая платок около губ, дрожала.

– Объяснять вам, кто я такой и как я попал в этот дом, я не стану, так как вы лучше меня это знаете, я только приехал сказать вам, что я это знаю. Вы не хотите признаться, этого и не нужно! У меня есть свидетели. Вам нужен был ребенок, потому что граф желал, якобы, наследника своего Грузина. Вы обманули его, обманули всех, насмеялись над законами и людьми. Для ваших подлых расчетов вы отняли меня у родной матери. Теперь я желаю, чтобы граф знал правду, чтобы он знал, что я ни вам, ни ему не сын, а совсем чужой человек. Да я с детства чувствовал это! – вдруг воскликнул Шумский с горечью. – Я всегда чувствовал это. Я всегда ненавидел его и всегда презирал вас. Вот сегодня я и объясню все это графу Аракчееву.

– Миша! Миша! – отчаянно проговорила Настасья Федоровна и не могла продолжать. Голос ее прерывался. Она закрыла лицо платком и замолчала.

– Миша, – заговорила она снова, – ну, если не для меня. Если я тебе ничто. Себя-то за что же ты губишь! Ведь ты все потеряешь. У тебя все есть. И все это Грузино! Все твое будет. Ты все хочешь потерять! Из-за чего? Нешто можно такими делами шутить. За что ты хочешь трех лиц губить!

– Я не хочу его обманывать, я не хочу быть вашим сообщником. Покуда я ничего не знал, я мог разыгрывать вашу комедию. Но, повторяю: я всегда ненавидел и вас, и его. Считаю себя сыном только незаконнорожденным, я пользовался и положением, и деньгами. Теперь я не хочу.

Настасья Федоровна схватила себя руками за голову вне себя от ярости и воскликнула:

– Ах, головорез! Разбойник! Вот проклятое детище послал мне Бог. Я думала на его счастье, а он...

– Ах, так ты мое счастье устраивала тогда?! – вдруг выговорил Шумский вне себя от злобы и гнева. – Это ты мое счастье устраивала, пьяная баба, когда силком отняла меня у бедной вдовы и выдала за своего ребенка. Нет, ты распутная баба свои дела обделывала. Тебе было нужно Аракчеева к лапам прибрать, наследником его подарить. Ну, да что с тобой толковать. Я только пришел тебе сказать... – и Шумский поднялся с места. – Я пришел сказать, что я все знаю и все сегодня же объясню графу.

– Он тебя за клеветничанье на мать и выгонит вон! – воскликнула Настасья Федоровна. – Как щенка, за ворота вышвырнет.

– Нет, тебя он вышвырнет, а я сам уйду. Следовало бы мне только, прежде чем из этого дома уходить, одно дело сделать... След бы тебя, подлую бабу, задушить или прирезать. Да марать руки о такого пса, как ты, охоты нет.

Настасья Федоровна оцепенела совсем от гнева, не двигалась и не могла произнести ни слова. Шумский стоял перед ней, тяжело переводя дыхание и как бы готовый броситься на женщину.

– Ах ты, мерзавец... – через силу вымолвила она наконец, всхлипывая от злобы. – Да тебя запороть... В Сибирь тебя и Авдотью надо... Если вы графу пикнуть посмеете, то и тебя, и ее запорят...

– Молчи, пьяная распутница! – глухо проговорил Шумский, наступая и сжимая кулаки. – Молчи! Не тебе грозиться мне. Я тебя, как клопа, раздавлю сегодня одним моим словом. А если ты пальцем тронешь мою мать, то я тебя прирежу, вот тебе Бог! Спасибо скажи, что жива еще от меня... Да авось Господь пошлет тебе за все твое окаянство, еще ухлопают здесь когда-нибудь... Сам бы я топор на тебя наострил, пропойца и развратница... Знаю я, каналья, чем ты графу мила, чем ты берешь его, чем милее ему всех красавиц земных... Все грузинцы это знают и тебя ниже скотов, псов и свиней ставят. Гадина ты для всех! Гадина!.. Отродье борова с ведьмой!

Шумский повернулся и, задыхаясь от гнева, быстро вышел из горницы.

– Давай мне судьба на выбор, – прошептал он взволнованно шагая, – кого застрелить? Фон Энзе или эту гадину? И я его упущу? Он предо мной не виновен. Он тоже любит!.. А эта гадина?!.. Ох, три раза убил бы, оживил и опять убил.

VII

Вернувшись к себе и успокоившись, Шумский послал за Авдотьей. Когда женщина пришла, он внимательно присмотрелся к ее лицу. Увидя то же прежнее спокойно-грустное выражение, какое было у нее за последнее время, Шумский выговорил:

– Настасья тебя, стало быть, не вызывала для расправы, ты ее сегодня не видела и не объяснялась?

– Нет, вчера она меня пытала, да я сказала, что ты сам все пояснишь, а теперь шумит у себя на половине.

– Рычит и грызется, как пес, – усмехнулся Шумский. – Да, теперь из-за моего разговора с ней многие розог отведают. Надо же треклятой бабе на ком-нибудь сорвать свою злобу. Ну, а ты, матушка, соберись. Поди оденься, мы с тобой отправимся по делу.

– Куда? – удивилась Авдотья.

– Оденься, на дворе свежо, и выходи, а я тебя обожду на крыльце.

Авдотья, недоумевая, вышла. Через несколько минут, встретившись на крыльце, и женщина, и молодой человек двинулись пешком через двор на улицу. После паузы Шумский выговорил:

– Веди меня на то место, где ты жила, когда я родился. Избы, говоришь, и следа нет?

– Нет. С той поры ведь тут все переменялось. Видишь, какие дома повыстроены. Тогда простые избы мужицкие стояли.

– Все равно, место покажешь мне, где я постылый свет Божий увидел.

– Как бы нас, Миша, из дому не заприметил кто.

Шумский усмехнулся.

– Пускай глядят, кому любопытно.

Пройдя немного по гладкой, чисто выметенной улице, где не было ни соринки, но где, тем не менее, от людей до окошек и ворот, все глядело холодно и угрюмо, Авдотья остановилась и указала на один из дворов.

– Вот на этом месте, – заговорила она, оживляясь, – стояла та изба, куда меня ночью привезли и заперли, как повинную в злодействе каком. Тут ты и родился. Здесь вот дворишка был, закуты, колодезь...

– Стало, совсем и следа нет прежнего, – спросил Шумский, оглядывая большой дом с крыльцом по середине на каменном фундаменте, каковы были все дома Грузина.

– Вестимое дело ничего, только место, а то и бревнушка никакого старого не осталось. А уж что, Миша, крестьянского поту и крови пролито в этом графском строительстве.

Постояв несколько мгновений молча и понурившись, Шумский снова двинулся в сопровождении Авдотьи и затем вымолвил:

– Туда ли мы идем-то? Где кладбище?

– Оно вон там, – показала рукой Авдотья. – Да ты что?

– Пойдем на кладбище.

– Зачем?

– Понятное дело зачем. Ты сказываешь, что могила отца целехонька, что ты ее соблюдала.

Авдотья всплеснула руками и выговорила испуганно:

– Что ты, Господь с тобой, что ты затеял? Нешто можно. Помилуй Бог, узнают! Что тогда будет? Как-нибудь после, а теперь как можно.

– Полно, матушка, – холодно и мерно выговорил Шумский. – Сколько раз мне тебе повторять, что некого мне бояться, что я всякой бодливой коровы больше побоюсь, чем этого изувера грузинского. Да и не посмеет он меня тронуть. Он на бабу и на раба отважен.

– А мне-то что будет? – всплакнула Авдотья.

– И тебе ничего не будет. Глупая ты, ну, чудная, что ли, – быстро поправился Шумский. – Разве я позволю ему, или Настасье, тебя тронуть хотя пальцем. Я им обоим головы оторву, коли они за тебя примутся. Сто раз я тебе это сказывал, и все зря! Как об стену горох! Ты, знай, свое повторяешь. Как я положил, так и буду поступать, а было решено мною с этим дуболомом и с этой пьяной канальей объясниться и на могиле отцовой побывать, а затем вместе с тобой же обратно в Питер. Ну, пойдем.

Авдотья покорно, вздыхая, двинулась и повела сына в противоположную сторону. Через минут десять молчаливого пути они приблизились к кладбищенской церкви. Войдя в ограду, они пошли тропинкой мимо десятков могил с простыми деревянными крестами, раскрашенными разными красками. Здесь в месте упокоения вечного рабов Божиих и Аракчеевских была тоже система, распорядок, аккуратность. Всякий крест был видимым знаком общественного положения похороненного, смотря по его колеру. У более зажиточных покойников на могилах стояли гладкие кресты: темно-красные и голубые, у других поглубее: желтоватые и сероватые и, наконец, у бедняков плохие кресты были выкрашены черной краской, или просто смесью сажи с маслом.

В дальнем краю кладбища Авдотья остановилась перед одной уже сильно сравнявшейся с землей могилой. Над ней был простой, ветхий крест прежде черный, теперь порыжелый от времени и слегка покосившийся на бок.

– Вот, – выговорила Авдотья.

Шумский остановился и стоял истуканом, глядя на порыжелую траву бугорка.

– Это, матушка, не значит могилу соблюдать, – произнес он наконец. – Я думал, могила в порядке совсем, а это что же такое? Грошовый крест, гнилой, торчит на бок. Как же это ты так?

– Опасалась я, Миша. Стала бы я подновлять, мало ли бы что вышло. Я и на могилу-то ходила от всех тайком. Деньги у меня были, желание, вестимо, еще того больше, да страх брал. Доложат Настасье Федоровне, что я могилку подновляю, она бы в сомнение пришла.

– В какое сомнение? Ей-то что же?

– А кто же ее знает. С ней противничать погубительно. Заставляла же она меня часто иным гостям своим сказывать, что я, кормилица твоя, отродясь замужем не была и срамила меня. А я тут стала бы мужнину могилу подновлять.

Шумский двинулся от могилы, ни слова не говоря, и, уже приближаясь к церкви, увидел двух мужиков, которые копали свежую яму. Он позвал их. Мужики при виде барина в мундире и, догадываясь, кто это может быть, поснимав шапки, бросились к нему.

– Добегите к батюшке и попросите его сюда в облачении панихиду служить.

– Что ты, Миша, – вдруг воскликнула Авдотья, хватая молодого человека за руку.

От перепуга женщина сразу изменилась даже в лице.

– Скажите, Михаил Андреевич приказал звать, – добавил Шумский мужикам, не поглядев на мать.

– Миша, ради Создателя, брось. Зачем же дразниться? Ну, действуй, как знаешь, объясняйся с ним, говори свое, а зачем же тебе задирать его, дразниться?

Шумский усмехнулся.

– Да, вот именно как ты сказываешь. «Дразниться!» Вот это-то я и буду делать. Объясниться-то мы можем с ним, с идолом только один раз. А мне этого мало, на сердце не полегчает. А вот именно «дразниться» я могу сколько хочу, хоть всякий день и круглый год. Вот в этом-то все мое утешение. Нынче мы с ним поговорим, я его некоторыми словами, как тумакими по голове, отзвоню и он у меня ошалеет. Может быть, потом он и ее поколотит. Да через неделю, боюсь я, он простит все, помирится с ней и заживут они опять счастливо.

А вот «дразниться» я могу и неделю, и месяц, и год, и всю мою жизнь. И этим-то я их и проберу. Перед целым светом на смех подыму, поясняя, как они детей воруют...

Авдотья стояла потупившись и только смутно понимала, что хочет сказать сын.

– Что же, Господу Богу молиться на могиле в насмешку, – произнесла она наконец. – Ну, хотел бы ты по родителе панихиду отслужить, ну отслужил бы не на месте. И в Питере можно, без смеха. А этак нехорошо. Кто же когда на свете панихиду на смех служит?

Шумский положил руку на плечо матери и выговорил мягче:

– Ты не так поняла, матушка, я хочу служить панихиду по долгу сыновнему, а не в насмешку. А узнает Аракчеев, я рад буду... Пусть бесится!

В эту минуту на кладбище показались несколько человек, приближавшихся быстро и как бы смущенно. Впереди шел священник в облачении, за ним дьячок с кадилом и причетник. Старик священник еще издали, за несколько шагов, уже начал кланяться. Шумский двинулся к нему навстречу, подошел под благословение и затем вымолвил:

– Позвольте попросить вас, батюшка, отслужить панихиду.

– Где прикажете? – отозвался священник. – И по ком?

– За мной пожалуйста. По рабе Божьем Иоанне.

Шумский пошел вперед, за ним Авдотья, а за нею остальные. Приблизясь к той же убогой могилке, Шумский показал на нее рукой. Все три служителя кладбищенской церкви, недоумевая, принялись за свое дело и запели громко и сиповато. Шумский стоял недвижно и не крестясь. Не только рукой, но даже бровью не двинул он. Правая рука его была заложена за борт сюртука, в левой он держал снятый картуз. Глаза были опущены в землю.

Авдотья опустила на колени и, как ни старалась, не могла перебороть себя и плакала навзрыд. Поступок ее Миши, о котором она ничего не знала заранее и, конечно, и помышлять не смела, сильно подействовал на нее. Ей, разумеется, никогда и не мерещилось, что придет день, когда она вместе со своим сыном будет над этой могилой служить панихиду. Священник кончил и, повернувшись к Шумскому, поклонился ему в пояс.

– Давно ли изволили к нам пожаловать? – счел он долгом начать беседу с молодым баринном.

– Вчера ввечеру, – отозвался Шумский.

– Должно быть, могилка-то сродственника вашей нянюшки? – по природной болтливости спросил священник.

Шумский хотел что-то ответить, но слова будто замерли у него на губах.

– А нехорошо, Авдотья Лукьяновна, – заболтал опять поп. – Я в первый раз на этой могиле служу. Как же это вы ни разу не подумали? Я и не знал. Вишь и крест покосился. Знали бы мы, смотрели бы за могилой. Кто же тут, стало быть, похоронен у вас, Авдотья Лукьяновна?

Женщина быстро взглянула на Шумского, потом перевела глаза на священника, промычала что-то бессвязно и смолкла.

– Здесь похоронен, – твердо, но как-то грубовато и хрипливо, проговорил Шумский, – похоронен муж Авдотьи Лукьяновны и, стало быть, мой отец.

Священник, дьячок и причетник, все трое зараз, как по команде, вытаращили глаза. Двое разинули рты, а третий, напротив, сжал губы, но зато еще сильнее пучил свои маленькие глазки. За несколько секунд молчания в уме священника, вероятно, мелькнуло, скользнуло что-то: воспоминание или соображение! Или слышанные им тайно, под страхом ответственности, пересуды и рассказы грузинские. Священник вдруг слегка изменился в лице и оно изобразило лишь один неподдельный, отчаянный испуг.

– Я уж на вас, Михаил Андреевич... Я на вас полагаюсь... Господа Бога ради!.. У меня шестеро деток...

И священник не мог договорить, так как голос его дрожал и рвался.

– Что вы? – холодно спросил Шумский.

– Я на вас, Михаил Андреевич, полагаюсь. Если что... – Защитите. Я не виноват. Я не знал. Вы приказали... Я и пошел служить. Я же ничего не знал. Так я графу и доложу, а вы не дайте в обиду! Не губите деток, семью...

И священник все нагибался ниже и ниже. Казалось, еще мгновение и он бросится в ноги.

– Чего же вы сдуру перепугались? – произнес Шумский еще холоднее и еще глуше.

Ему вдруг почудилось что-то оскорбительное в этом страхе попа, ставившее его самого в глупое положение.

– Сами изволите ведать, я не при чем. Вы прислали явиться панихиду служить. Я же ничего не знал и – вот Господь Бог – и не знаю.

Шумский вдруг усмехнулся своей злой и ядовитой улыбкой и вымолвил:

– Нет, батюшка, кабы вы ничего не знали, так вы бы теперь и не перепугались, вы все знаете и все знали! Вы, стало быть, знали еще тогда, когда я сам, родной сын этого похороненного здесь, ничего не знал. И не вы одни, все знали. Один я не знал.

– Помилосердуйте! – всхлипнул священник, поняв слова по-своему. – Вы приказали, я не смел послушаться.

– Успокойтесь, – небрежно, но желчно вырвалось у Шумского. – Вы свое дело делали: позвали вас для панихиды, вы и служили.

Шумский тронул за руку Авдотью и умышленно выговорил:

– Пойдем, матушка.

Когда они были за церковной оградой, Авдотья все еще с красным заплаканным лицом закачала головой и произнесла с отчаянием:

– Что ты творишь, Миша? Что ты творишь? Себя ты порешил загубить, но за что же ты других, безвинных, губишь? Ведь суток не пройдет, граф может и батюшку и всех кладбищенских во прах обратить. А это человек сердечный, добрый, все его уважают, и семейный. Ты эдак и младенцев безвинных перегубишь. Ты дразнишься, а все Грузино, гляди, ныне же кровью обольется... Они твою вину на рабах сорвут.

Шумский вздохнул и ничего не ответил.

VIII

Едва только Шумский вернулся в дом, как к нему явился человек и доложил, что граф просит его к себе. Молодой человек, не ожидавший, что придется тотчас же идти к Аракчееву со своим роковым объяснением, слегка смутился, но тотчас же оправился и взбесился на самого себя.

– Струсил! – иронически выговорил он шепотом и, двинувшись через дом по направлению к кабинету Аракчеева, он чувствовал в себе лишь одно сильное озлобление. Сначала это была злоба на самого себя за то, что он унизился, почувствовав страх и смущение, а затем уже явилось злобное раздражение на всех и на все окружающее... от графа и до трусливого кладбищенского попа, поставившего его в нелепое положение.

«Подарю я тебя весточкой, дуболом», – подумал Шумский, переступая порог кабинета графа.

Аракчеев сидел за письменным столом, на котором кипами лежали бумаги, но перед ним не было ни одной, а лежало развернутое Евангелие.

Здесь, у стола, Шумскому пришло на ум нечто, о чем он, идя, не подумал: «Здороваться ли с графом обычным образом или нет?»

Когда-то он прикладывался к обшлаго рукава в качестве сына. Теперь, чужой человек, обязан ли он облобызать сукно мундира этого всячески ненавистного ему человека. И вдруг коварная мысль мелькнула в голове его: чем вежливее и нежнее начнется это свидание, тем крепче, неожиданнее и чувствительнее будут те удары, которые он нанесет в сердце этого человека.

А человек этот настолько сух, бездушен, настолько деревянен, что нужны сильные нравственные тумачи, чтобы его пробрать и встряхнуть. Шумский, внутренне смеясь, наклонился, Аракчеев поднял руку и молодой человек приложился губами к обшлагу.

– Вон, – выговорил Аракчеев, мотнув головой на стул с другой стороны стола.

Шумский сел и устремил взор на графа. Тот сидел, опустив на книгу свои глаза с галчьиими веками. Толстые губы его топырились, как показалось Шумскому, особенно пошло. Мясистый, как бы опухший нос, слегка вздернутый вверх, тоже казался ему на этот раз особенно уродливым. Короткие и курчавые, как у негра, волосы, жесткие и блестящие, положительно не шли к аляповатому лицу.

Все эти завитки и колечки с легкой проседью казались париком, в шутку сделанным из мерлушки и вдобавок приготовленным для иного, более красивого лица.

«Стриженная кухарка Агафья в генеральском мундире!» – подумал Шумский, вдруг снова озлобляясь.

– У матери был? – в нос мыкнул Аракчеев, не разжимая губ.

– У Настасьи Федоровны? – как бы поправляя, вымолвил Шумский и прибавил: – Был-с.

Аракчеев двинул не спеша галчьиими веками и тускло-стеклянные глаза, как у куклы, уперлись в молодого человека.

– Это что же такое? – выговорил он мерно.

Шумский молчал, приняв наивно-равнодушный вид.

– Что же это такое? Спрашиваю я вас, сударь мой.

– Как-с-будто? – заискивающе произнес Шумский.

– Так-с! – отозвался, передразнивая, Аракчеев и вторя тем же тоном.

Наступило молчание, и тишина, нарушаемая лишь сопеньем графа, длилась долго.

Тут два человека вдруг захотели друг друга переупрямить. Один ждал ответа на вопрос, а другой не хотел отвечать, а хотел, чтобы ему еще раз предложили этот важный вопрос, но яснее и определеннее.

– Мало, мало. Да, мало тебя драли, – выговорил, наконец, один из двух, не подымая глаз. – Теперь поздно. И если драть нельзя, то надо будет выискать что-либо прямо соответствующее. По какому случаю и с какого черта? Что приключилось, чтобы осмелиться свою родительницу дерзновенно вдруг называть Настасьей Федоровной?

– Вот за этим, собственно, я и приехал, чтобы вам объяснить все...^ ответил Шумский умышленно небрежно. – Подробно, объяснять не стоит. Достаточно сказать лишь несколько слов, по которым вы уразумеете все. Я называю вашу сожительницу не матушкой, а...

Аракчеев быстро вскинул глазами на Шумского, и тот невольно запнулся под ярко сверкнувшим взглядом. Это была уж не кукла, а зверь!

– Я называю ее Настасьей Федоровной по той причине, – продолжал он тверже, – что она мне не мать.

– Ты что же это... Допьянствовал до умоисступленья, до потери разума, до синеньких чертиков! – хрипливо вымолвил Аракчеев от приступа гнева, сдавившего горло.

– Соизвольте, ваше сиятельство, понять... Я родился не от Настасьи Федоровны, она мне не мать! Вы же мне не отец, а совсем чужой человек! Все это мошеннический обман и преступная комедия.

И сказав это, Шумский пристально впился глазами в Аракчеева, чтобы насладиться тем, что произойдет в этом человеке. Но через мгновение на лице Шумского было написано удивление. Со зверем-человеком ничего не случилось. Лицо его не изменилось ни на каплю, а если что и произошло там, где-то, где у людей бывает сердце, то ничего наружу не вышло. Он только громче сопел...

– Рассказывай, сударь, побасенку потолковей, с началом, с середкой и с концом, – вымолвил Аракчеев, ухмыляясь ехидно, но тревожный голос слегка изменял ему.

– Что же вам, собственно, угодно знать? Как все произошло? Откуда меня достали? Как выдали за своего и за вашего сына? Это, я полагаю, вам расскажут лучше меня все грузинцы. Все здесь знают то, чего только мы двое не знали – вы да я... Последний хам в доме может рассказать вам, как меня в ваше отсутствие притащили новорожденным во флигель, и как выдала меня за своего ребенка ваша сожительница, которая сама и не могла иметь никакого ребенка, ибо, прикидываясь, только носила подушку. Я же сын родной Авдотьи Лукьяновны. Да-с! И если вы не хотите заставить объяснить все сами Настасью Федоровну, позовите мою мать, а то любого хама из дворни... Я отвечаю вам, что каждый из них знает подробно, как над вами потешилась ваша сожительница.

Шумский смолк. Аракчеев вдруг двинулся и не просто вздохнул, а как-то протяжно выпустил при себе дух, как если бы пробежал версту, не переводя дыхания, или бы окунулся сразу в холодную воду.

«Пробирает, соколик. Родненький! Желанный! Касатик!» – Мысленно издевался над ним Шумский.

Наступило молчание и длилось минут пять, которые, однако, показались Шумскому целым часом.

– Если все ложь, что мне тогда сделать? – глухо выговорил наконец Аракчеев. – Что мне учинить с тем негодяем, который, собрав охапку всяких сплетен, клеветничает на уважаемую мною особу, позорит любимую мною женщину, выше которой я на свете не знаю, выше которой на свете нет! Да! – Вдруг громко на весь кабинет крикнул Аракчеев: – Нет на миру женщины выше Настасьи Федоровны. Все какие есть на свете женщины, хоть бы принцессы и королевы, все ей в подметки не годятся. Только холопы разные этого не понимают и грузинские, и петербургские. Да не крепостные, а сановные и придворные. А вот

государь император, тот знает и высоко ценит Настасью Федоровну. И вдруг ты, паршивый щенок, набрав всякой дряни на язык, принес ее сюда и соришь языком у меня в кабинете, перед моей особой. Алтынный поросенок порочит особу, кою я не знаю с кем и сравнивать... разве со святыми угодницами. Ну, так если все это святотатственная клевета на нее, что мне тогда с тобой сделать. Говори!

– Что вам угодно. Ваша воля...

– Знаю, что моя... Что мне угодно. Ну, так вот что. Слушай! Дело это рассудить не мудрено, сейчас же за него и возьмемся. Если, как я знаю, окажется на поверку, что все это злобная ложь, то я попрошу государя тебя разжаловать в солдаты и сослать в какой дальний полк, в трущобу. Там ты и околевай. Согласен?

Шумский молчал.

– Что? На попятный?..

– Нет-с, но я не понимаю при чем тут согласие мое и чего вы желаете от меня.

– Желаю и требую, чтобы ты, поганный щенок, выбирал... Начинать ли расследование этой мерзости, которую ты сюда притащил на языке, или бросить и постараться даже забыть этот паскудный разговор, который мы теперь с тобой ведем. Если не начинать ничего, то все останется по-старому. Только я буду помнить, что ты на всякую гадость мастер. А коли не бросать, а начинать расследование, то после оного быть тебе солдатом. Согласен?

– Согласен, – отозвался Шумский, улыбаясь, – но позвольте... Всякий, как я слышал, и торговый договор бывал на две стороны. Если все окажется ложью и клеветой, то пусть я буду солдатом, хоть трубочистом. Чем вам угодно. Но если все окажется сущей правдой? Тогда, позвольте узнать, что будет?

– Что? Что? – воскликнул Аракчеев. – Что же тогда? Ничего!..

– Как ничего! Если в деле окажется виновной близкая и дорогая особа, так ее всячески выгородить. Меня в случае легкой виновности – сплетничанья – в солдаты, а кого другого в случае уголовной виновности милостиво простить, опять ласкать, обожать, ублажать, кормить и поить... возбудительным сладким винцом... пред отходом ко сну!..

– Не твое дело, негодяй... это все... – прерывисто проговорил Аракчеев, и голос его, сдавленный и сиповатый, выдал всю ту бурю, которая вдруг поднялась в нем от дерзости молодого человека.

– Нет-с, мое дело, – резко продолжал Шумский. – Коль скоро заранее определено, как буду я наказан, оказавшись виновным, то я точно также желаю вперед знать, как будут наказаны другие, если я окажусь прав. И удивительно, право... Говорить, что это не мое дело. Надо мной разыграли комедию, меня новорожденным отняли силком, правда, у простой крестьянки, но все-таки у родной матери, и заставили меня эту мать считать прислугой, обращаться с ней двадцать пять лет, как с горничной, крепостной бабой... Когда цыганки уносят и воруют детей, их хватают, судят и наказывают. А важного сановника и его сожительницу за воровство чужого ребенка нельзя, стало быть, наказывать. Так, если законы и судьи тут не властны, то надо самому уворованному, когда он вырос, действовать и за себя отплатить.

– Пустомеля! Пустозвон! Если не сын ты, все же мой... хам!.. – И Аракчеев, схватив себя за голову, прибавил едва слышно: – Выйди вон.

Шумский, вообразив, что с графом делается дурно, приподнялся и хотел уже идти к окну, где стоял на подносе графин с водой, но в тот же миг Аракчеев дикими глазами глянул на него и выговорил тверже:

– Скорей! Вон! А то убью!

– А-а? – протянул Шумский, вдруг озлобась, и чуть не прибавил вслух: «вон что!..»

– Уйди! – вскрикнул Аракчеев и стал озираться вокруг себя по столу и горнице, как если действительно искал что-нибудь, с чем броситься на молодого человека.

Шумский повернулся и, деланно улыбаясь, двинулся вон из кабинета. Но в дверях он остановился, как если бы сам сатана удержал его и, обернувшись к графу, выговорил мягко, почти приветливо:

– Виноват-с, в котором часу кушаете? По-прежнему в четыре или раньше?

Аракчеев снова взялся за голову, оперся локтем на стол и повернулся спиной к дверям.

Так как ответ был не нужен, а нужна была одна насмешка, то Шумский тотчас же вышел и быстро пошел через весь дом, бормоча по дороге:

– Теперь будемте-с втроем расхлебывать. Одному-то было скучно. Извольте, идолы, мне помогать. И авось-то я похлебаю без беды, а вы-то оба подавитесь.

Через четверть часа необычный шум в доме, голоса в коридоре и беготня озадачили Шумского. Он позвал лакея и приказал сбегать узнать в чем дело.

Лакей вернулся через минуту оробелый.

– Графу приключилось нехорошо. Дохтур у них. Да еще за городским в Новгород верховых погнали. Господи помилуй и сохрани!

– Не ври! Вы бы тут все грузинцы трепака отхватали, если б он вдруг издох! – воскликнул Шумский.

Лакей побледнел слегка и оцепенел на месте, глядя на молодого барина совсем шалыми глазами. И услышать-то только эдакие слова – Сибирью запахнет под носом.

– А Настасья у графа? – спросил Шумский.

– Никак нет-с... – робея еще более, отозвался лакей и невольно двинулся к дверям, уходя от беды.

– Нешто ей не доложили?

– Они были-с... Граф не приказали им тревожить себя.

– Отправил! Не принял! Прогнал!

– Воля ваша-с... Михаил Андреевич... а я-с... я-с...

И лакей выскочил в двери.

Шумский, улыбаясь, прошелся по комнате несколько раз и вымолвил вслух:

– Ну-с, ваше сиятельство... Сынка я у вас отнял... Бог даст и персону, «коя превыше всех принцесс» тоже отниму. И сиди тогда, людоед, один как перст!

IX

Весь день в доме было затишье. Все население Гру́зинской усадьбы от мала до велика попряталось каждый в свой шесток, так же, как птица прячется перед грозой. Все гру́зинцы поняли, что на этот раз молодой барин приехал по какому-то важному делу, все знали, что между графом и Шуйским произошло важное объяснение, но не знали, конечно, в чем оно заключалось.

Все затрепетали, когда по выходе Шумского из кабинета графа, гру́зинскому владыке приключилась дурнота. Втайне все радовались, что молодой барин сделал или сказал что-то неприятное Аракчееву, но вместе с тем все трепетно опасались стать причастными беде и без вины виноватыми.

Шумский сидел у себя в горницах, нетерпеливо ожидая, как «они» расхлебают кашу, которую он заварил, но до вечера ничего нового не случилось. Уже часов в восемь он послал за матерью, чтобы узнать от нее что-нибудь. Авдотья пришла встревоженная, с опухшими от слез глазами. Она объяснила сыну, что Настасья Федоровна пыталась ее на все лады, чтобы узнать, как все приключилось и каким образом Шумский узнал то, что 25 лет было тайной для всех. Разумеется, Минкина догадывалась, что дело не могло обойтись без участия мамки.

– Ну, а ты что же? – резко произнес Шумский. – Небось нюни распустила, покаялась?

– Как можно, – отозвалась Авдотья, – нешто могу я покаяться. Они меня до смерти запорют, или в «едекуль» посадят.

– Стало быть, ты на своем стояла: знать не знаю и ведать не ведаю?

– Вестимо.

– А мною она тебя пыталась?

– Два раза принималась допрашивать и, наконец, до того обозлилась, что собралась было драться, подступила и кулаки подняла. Да вдруг будто что вспомнила, сама себя ухватила за волосы, затопала ногами и выгнала. Как же теперь, родной мой, быть? Я и ума не приложу.

– Что, как быть?

– Да если они опять меня будут пытать, и помилуй Бог, граф к себе позовет. Что же мне тогда делать?

– А все то же, матушка. Говори: знать не знаю, ведать не ведаю, откуда оно все вышло. Вы, мол, у него спросите.

– Ну, а ты-то как же?

– Обо мне уж не беспокойся, я с ними разговаривать умею. Да и как все повернется не ведомо. Ведь он ее к себе не допустил.

Авдотья подтвердила то, что Шумский уже знал: в ту минуту, когда Аракчееву сделалось дурно и все поднялось на ноги в доме, Настасья побежала к графу и, действительно, не была принята им.

Вся дворня, привыкшая к полновластию фаворитки в доме, не могла понять, или не посмела понять, действительного значения факта. Не зная сущности беседы Аракчеева с Шумским, никто не мог догадаться, что граф не пожелал допустить до себя и видеть свою любимицу. Все повторяли разные варианты того, что объяснил Шумскому лакей.

«Граф не принял в кабинет Настасью Федоровну, чтобы ее не напугать и не потревожить».

На вопрос Шумского о Пашуте Авдотья объяснила, что Настасья Федоровна вызывала к себе и девушку и ее брата и допрашивала обоих о житье-бытье в Петербурге, о том, кого Шумский наиболее видел за последнее время, о бароне Нейдшильде и его дочери, но помимо пустого разговора ничего не было.

Отпустив мать, Шумский строго наказал ей, что, если наутро она узнает что-либо в доме особо важное, то должна немедленно прийти и предупредить его.

– Боюсь я к тебе этак ходить, – отозвалась Авдотья.

– Что? – удивился Шумский.

– Опасаюсь... Буду я этак к тебе забегать, Настасья Федоровна в сумнение придет и не миновать мне беды.

– Да что ты, матушка, разума что ли лишилась! – резко произнес Шумский, но тотчас же смягчил голос и прибавил вразумительно тихо, – сколько же раз мне тебе сказывать, что я не позволю им ни единого волоса на твоей голове тронуть. Пойми же ты это, наконец! Пойми ты, что если Настасья тебя пальцем тронет, то я ее исколочу собственными кулаками. И она это знает. Пойми, что если граф велит тебя как наказать, то я и до его морды доберусь.

– Ох, что ты! – ахнула Авдотья с таким ужасом, как если бы сын страшно богохульствовал.

– Я тебе это на все лады объясняю, а ты все трусишь этих чертей. Ведь право, матушка, зло на тебя берет, что не могу я тебе в голову простое дело вбить. Мать ты мне, или нет? Говори?

– Ну, ну, – отозвалась Авдотья, потупляясь.

– А коли ты мне родная мать, то как же я позволю кому-либо тебя тронуть?

– Кому другому, вестимо, не дозволишь, а граф и Настасья Федоровна – люди властные и над тобой.

– Пойми ты, что не властны они надо мной. Скорей они у меня в руках. Я могу срамить их на всех перекрестках, что они чужих детей отнимают да за своих выдают:

– На воспитание брать – тут худого нет ничего! – вдруг заявила Авдотья как сентенцию, очевидно, с чужих слов.

– Так тогда я могу этого дуболоба срамить иначе на весь Питер, – озлобясь, вскрикнул молодой человек. – Я буду рассказывать, как Настасья девять месяцев надувала этого идола подушкой. Думаешь ты недаром сегодня с ним дурнота приключилась. Крепок дьявол! Я было надеялся, что его хоть малость кондрашка хватит...

– Ну, прости... Я пойду... А то неровен час!.. – перебила Авдотья.

– Ну, иди... Только помни, если что будет нового, приходи тотчас ко мне, коли сплю – разбуди. Да не умничай, слушайся меня. А теперь тотчас пошли ко мне Пашуту.

Авдотья ушла, а Шумский начал шагать из угла в угол по горнице, изредка ухмыляясь своим мыслям, но как-то горько, злобно, ядовито. Несмотря на эту изредка скользившую по лицу усмешку, лицо его было сумрачно, глаза печальны. Пройдясь несколько раз по горнице, он остановился, тяжело вздохнул и тихо выговорил вслух:

– Плохо дело, если единственная соломинка, за которую я хватаюсь – месть. Эдакая даже ни на что и не нужна. Утопающий думает, что в соломинке пошлет Бог чудо и она спасет его, а я, хватаясь за мою соломинку, знаю, что она не спасет меня. Да я и цепляюсь-то за нее не ради спасения себя, а будто со злобы, что утопаю, рву все, что под рукой. Во мне какое-то дьявольское желание, чтобы все гибло кругом вместе со мной. Вот этак-то в Священной истории Сэмпсон потряс и разрушил целый дворец, и себя, и всех кругом убил. Вот и я так же. Да, я чувствую, что теперь сделаюсь самый злой, скверный человек. Не только этого изувера и его Настасью, или фон Энзе, но даже людей совсем не повинных я в покое не оставлю. Буду мстить направо и налево всем, за все. Виновата лиходейка одна Настасья, но что же я с ней могу сделать! Будь она не баба, будь офицер-дворянин, человек мне равный, я бы застрелил ее...

Шумский запнулся и усмехнулся.

– Равный!.. Дворянин!.. Нет уже это теперь, братец мой, надо оставить, – прибавил он злобно.

Пройдясь еще несколько раз по комнате молча, Шумский закурил трубку, сел в кресло и через минуту как бы несколько успокоился.

Он стал думать о том, что неизвестно зачем приказал послать к себе Пашуту. О чем будет он с ней говорить? О баронессе? Это невозможно. Она отмолчится. Вникнув глубже в свои теперешние ощущения, молодой человек увидел, что он почти без ненависти относится к девушке.

Когда Пашута, взятая и приведенная к нему полицией, снова сидела в квартире почти взаперти и под надзором всех домашних, Шумский ни разу не видал ее близко, не только не объяснялся с ней. Только перед отъездом из Петербурга, он вызвал ее, но не пожелал даже взглянуть на нее, а стоя у стола почти спиной к ней, остановившейся в дверях, он сказал ей, что берет ее с братом в Гру́зино вместе с собой. Так как он ничего не прибавил к этому, то Пашута, постояв с минуту, сама вышла из его горницы. Дорогой Шумский точно так же не видел Пашуты. Иногда он не обращал на нее внимания, занятый докучливыми скорбными мыслями о себе... Иногда же при виде ее ему почему-то не хотелось глядеть на нее; было как-то тяжело и горько сделать это...

Все-таки она была главная виновница всего!..

Во сколько Пашута была ему ненавистна в первые дни после письма и отказа барона, во столько теперь Шумский питал к девушке какое-то странное чувство, почти неуяснимое для него. Во время пути от Петербурга до Гру́зина Шумский много думал о том, как представит он Пашуту и Ваську Аракчееву? Как виновников всего или просто как крепостных людей графа, которых он более не желает держать у себя. Везет ли он их в Гру́зино, чтобы отдать на пытку? И на какую пытку?! Почти на медленную смертную казнь! Или же он не скажет ни слова никому.

И незаметно для себя, будто против воли, он оправдывал девушку.

Главной виновницей всего была положительно одна его мать.

Продержав и сохранив тайну в продолжение двадцати пяти лет, зачем выдала она ее Пашуте! Она наивно рассчитывала на любовь и благодарность Пашуты к себе. Но разве может взрослая девушка, которой чуть не тридцать лет, быть благодарной за то, что ребенком ее спасли от смерти, вытащив из воды? Вдобавок ей приходилось выбирать между ним – Шумским, которого она ненавидит, и баронессой, которую она стала обожать.

Это, им общее, чувство обожания Евы всего более и действовало теперь на Шумского, сильно и странно влияло на него.

Пашута оказалась его злейшим врагом, виновницей всего несчастья и, вместе с тем, она безумно любила ту самую личность, которую безумно любит он. Роковое совпадение и сцепление обстоятельств!

И перед самым Гру́зиным на переправе через Волхов он как бы независимо от собственной воли, под давлением какого-то смутного чувства, мысленно пощадил Пашуту, простил в ней главного врага своего, почти погубившего его... но почему?.. Погубившего ради спасения Евы, которую он обожает. Но если Пашуту простить, то брат ее и подавно ни в чем не виновен.

Х

Когда Пашута появилась в дверях и стала понурившись и опустив голову, Шумский невольно, впервые и внимательно присмотрелся к ней. Девушка за последнее время страшно похудела и побледнела, и впалые щеки, обострившийся нос, оттененные синевой глаза – все, казалось, было последствием трудной болезни, от которой болевшая якобы только что встала. Невольно вспомнил Шумский, что эта красивая девушка, прежде высоко державшая голову, веселая, бойкая, сметливая, теперь уже давно, еще в Петербурге, с той минуты, что полиция доставила ее, как беглую, потом дорогой и, наконец, в эту минуту, все одинаково стоит сгорбившись, согнувшись, уронив голову на грудь, с руками, безжизненно висящими по бокам туловища.

Она – приговоренная к смерти!..

И вдруг в эти минуты почти первого свидания их, Шумский, оглядев Пашуту, вздохнул и подумал, что сделал бы лучше, если бы оставил ее у Евы, и не только не мешал, а помог, чтобы Аракчеев продал ее барону.

– Ну, Пашута, – заговорил Шумский умышленно сухо, – что же мне теперь с тобой делать?

Девушка не шелохнулась, бровью не двинула.

– Завтра расправа будет, – продолжал Шумский, – очухается наш дуболом, притянет Настасью к Иисусу, а там и за вас всех примется. А ведь на тебя розги двойную силу возымеют: и телу, и душе больно будет. Душе, пожалуй, еще больнее. Ты видишь, барышня какая. Тебе оскорбительное хуже, чем больное... Тебе, поди, что две розги, что сотня, – все равно. Что же ты молчишь?

Пашута не отозвалась, слегка двинула плечами и несмотря на видимое желание подавить и скрыть глубокий вздох, все-таки не скрыла его. Грудь ее высоко поднялась и глубокий протяжный вздох страдающего человека явственно послышался в комнате.

Наступило молчание.

Шумский задумался, стараясь вспомнить, какие причины заставили его когда-то выпить в Петербург именно эту девушку себе в помощь и приставить к баронессе в качестве ее горничной и своего тайного шпиона и помощника. Не пади его выбор на эту Пашуту, а на какую-либо другую девушку грузинскую, то все повернулось бы иначе. И, пожалуй, во сто крат ужаснее, не только для Нейдшильдов, но и для него. Теперь он, вероятно, уже был бы солдатом! «Ничего не разберешь, – мысленно проговорил он. – Ничего окончательно не разберешь. Что хуже? Что лучше? Есть ли виноватые? Сам Господь Бог не рассудит всего этого!»

– Ну, Пашута, слушай, – заговорил он, наконец, спокойным, отчасти даже печальным голосом. – Тебе ничего не будет! Я не скажу ни графу, ни Настасье, ни единого слова о том, как ты меня ославила и разжаловала из их сына в подкидыши. Ты одна всю мою жизнь в прах обратила. Понимаешь ли ты это свое деяние, или не понимаешь, уж право, я даже не знаю!

Пашута вдруг выпрямилась, подняла голову и красивые глаза ее ярко блеснули на сидящего Шумского, едва заметный румянец появился на щеках.

– Я вам зла не желала, – глухо, почти хрипливо, произнесла она. – Видит Бог!

– Зла не желала, а великое сделала! Что мне в том, что ты не хотела меня губить, а все-таки погубила. Тебе одной сдуру поведала все матушка, думая, что ты ей по гроб жизни обязана, а ты рассказала все фон Энзе, а тот всему Петербургу и барону. Даже мне самому хватил он это в лицо. Ведь ты одна всему причина. Будь же настолько правдива, чтобы сознаться в этом. Неужели ты не понимаешь, что без тебя все шло бы по-старому.

– Да, я во всем виновата, – выговорила Пашута слабеющим голосом. – Во всем я одна, но видит Бог, я зла вам не желала. Вы, барин, ничего не понимаете, ничего, как есть, не поняли и не поймете.

– Что же такое? Чего же я не понимаю?

– И не можете вы понять, – слегка воодушевляясь, заговорила Пашута. – Надо быть самому в холопстве, крепостной девкой, как я, чтобы понять все, что со мной было. Зачем вы меня отсюда взяли, зачем вы не взяли другую какую, ничего бы тогда не было.

– Это, Пашута, я сам знаю и часто думал...

– И себя бы вы не погубили, да и меня бы не погубили.

– Тебя-то чем же я погубил?

Пашута слегка покачала головой, затем опустила руку в карман и, очевидно, не найдя там платка, приблизила руку к глазам. Шумский заметил слезы на лице ее.

– Вы вот всегда были барином, – заговорила Пашута едва слышно, – считались наследником графа, все у вас было в полном довольстве. Вы не знали какую только себе новую прихоть, затею или новое баловство придумать. И надумали самое ехидное и грешное с девицей-ангелом. Теперь вы сами порешили всего себя лишить, никто вас не неволит. Но все-таки же вы останетесь тем же барином-офицером и царским флигель-адъютантом. Все у вас может еще пойти опять на лад, если вы твердо порешили не поступать лиходейски, по-воровски с милой моей барышней, а жениться на ней. Все может у вас устроиться. А я загублена совсем и загубили вы меня...

Пашута хотела продолжать, но заплакала, голос ее оборвался и она замолчала.

Шумский, видя, как девушка утирает руками льющиеся слезы, точь-в-точь как какая-нибудь светская барышня, слегка, тихо, кончиками пальцев, вдруг двинулся к комоду, достал носовой платок и, перейдя к Пашуте, сунул его ей в руку. Девушка изумилась на мгновение, яснее глянула на него и, развернув платок, стала утирать лицо. Шумский отошел и сел снова в свое кресло.

Не столько слова, сколько оттенок голоса Пашуты, когда она заговорила о баронессе, коснулись его сердца. Между тем Пашута просто и без озлобления объяснила ему в нескольких словах, что Настасья Федоровна отняла у нее и платки, и все белье, подаренное ей баронессой. Затем она снова заговорила, постепенно оживляясь:

– После этой собачьей жизни в Гру́зине, я попала по вашей милости, из-за вашей злой затеи к барышне, мало сказать, доброй, ласковой, к какому-то божьему ангелу. У нее я через месяц свет взвидела. Она меня человеком сделала. Хотя она и говорила часто, в шутку, что я уродилась барышней, да все-таки же другая стала бы обращаться со мной, как с простой холопкой. Понятное дело, как я полюбила баронессу за все ее ласки. Я стала боготворить ее, я готова была молиться на нее, как на святую. Посудите же, могла ли я злодейски предать вам того самого ангела, на которого готова была молиться! Не затевайте вы этой грешной и жестокой затеи опозорить и обечестить ее, без ножа зарезать... и ничего бы не было. Ведь кончили же вы тем, что предложили ей жениться? Зачем же сначала враг человеческий толкал вас на такое дело? И теперь я не каюсь! Я рада, я счастлива, что спасла от вас мою святую барышню. Я все рассказала фон Энзе. По моей милости, конечно, он очутился в карете с товарищами около дома, когда вы ночью, как душегуб, хотели опозорить баронессу. Все это я сделала, да вы и знаете, что я. Но говорю вам теперь... не каюсь я в этом ни минуты. Хоть одно хорошее и доброе дело сделала я ей за все то, что она для меня делала. И я у нее теперь не в долгу! И это меня теперь утешает. Что бы со мной ни случилось, я никогда не забуду, как баронесса обращалась со мной и буду знать, что и я добром отплатила ей. А теперь что же? Сказывайте все Настасье Федоровне. Меня заporют до смерти. Посадят в яму! Уморят! А если они меня не заморят до смерти, останусь я жива, то, право, хватит у меня сил дотащиться до Волхова, чтобы себя утопить. Моя жизнь кончена! Но все-таки, помирая,

я буду помнить и буду говорить, что единственный человек на свете, который полюбил и обласкал меня, в свой черед великую услугу от меня получил. Я не в долгу у моей святой барышни!.. Если же вы женитесь на ней, то верно вам сказываю, первый человек, которого будет поминать, жалеть со слезами баронесса, будет Пашута. Но только на кладбище будет тогда Пашута...

– Этого никогда ничего не может быть, – глухо произнес Шумский. – Я не могу на ней жениться. Барон наотрез отказал мне, когда узнал, кто я такой. Он никогда не согласится на этот брак. Разве ты не знаешь, что баронесса любит давно... и замуж выходит за фон Энзе.

– Не пойдет она за него, – тихо и твердо произнесла Пашута.

– Что? – вымолвил Шумский, и сердце замерло в нем. – Что ты сказала? Зря ты сказала? Или знаешь что-нибудь?

– Вестимо, знаю.

– Говори скорей... Не томи меня!..

– Она не любит фон Энзе.

– Говорила она тебе это?

– Ничего она мне не говорила, потому что ничего сама не знает, не смыслит. А я знаю...

– Объяснись! – нетерпеливо, с волнением в голосе вымолвил Шумский.

– Говорю вам, баронесса сама ничего не знает. Она – малое дитя, или же просто святая девица, которая даже свои человечески чувства не понимает и боится их. Не умею я вам сказать то, что хочется, но вы сами умны и авось поймете. Вы не знаете баронессы, хотя и говорите, что любите ее. Она совсем неземная девица. Ангел, что ли, земной? Или вот этикие святые прежде, сказывают, бывали. Она вот любит вас и не знает этого.

– Правда ли это, – воскликнул Шумский, поднимаясь с места.

– Я вам верно это говорю, хотя она мне никогда этого не сказывала. Когда вы приходили писать портрет, называли себя господином Андреевым, она часто со мной говорила о вас. Но я не могла говорить, у меня духу не хватало обманные разговоры вести с ней. Для нее вы были живописец Андреев. Я знала, с каким ухищрением ходите вы в дом. Я старалась всегда разговор о вас переменить на другой, чтобы не лгать ей. Но я видела и знаю то, чего сама баронесса не понимает. У баронессы давно к вам такое что-то, чему я имени не знаю. Сказать, что она любила или любит вас, не могу. Но знаю я, что во всякий тот день, когда был час рисования портрета, моя милая барышня будто оживала. И глазки у нее в те утра блестели иначе. Ну, как же не любила? Судите сами. А что я вытерпела тогда, видя с ее стороны детское понимание вас и хорошее чувство к вам, а с вашей стороны дьявольские ухищрения. Ну, да что же об этом теперь... – прибавила Пашута, слегка махнув рукой с платком.

Наступило молчание, и только через несколько мгновений Шумский выговорил глухим голосом:

– Неужели же она любит меня? Верно ли это?

– Не знаю, как теперь, – снова заговорила Пашута, – давно я не видала ее, но сказываю вам, что когда еще вы называли себя Андреевым, предложи вы на ней жениться, Бог весть, что было бы. Барон, вестимо, не согласился бы, но в конце концов все вышло бы по ее желанию. Разве он может перечить ей в чем? А уже коли за г. Андреева, нищего живописца, пошла бы она, так как же ей теперь не пойти за вас? Что за важность, что вы не сын графа Аракчеева, а воспитанник? Ведь это вы сами все так перепутали. Захотите вы теперь, все по-старому будет.

– Но ведь она выходит за фон Энзе! Свадьба даже в скором времени предполагалась.

– Однако, отложились!..

– На время. Если мне не удастся застрелить его на поединке, то он все-таки будет мужем ее.

Пашута тихо потрясла головой:

– Не верится мне. Видела я ее с вами, видела я ее с фон Энзе. Говорили мы с ней многие сотни разов и о нем, и о вас. Ведь не глупая же я дура. Я больше понимала и знала о баронессе, чем сама она знала про себя. Раз помню, одевая ее, когда вы ждали писать портрет, я сказала ей, что напрасно она к вам так ласкова, что слухи ходят, что вы, т. е. Андреев, скверный человек, лстивый, подлый, скверного поведения... И никогда, право, не забуду, как она жалостливо поглядела на меня. Будто я ее булавкой уколола. Как она ласково и печально сказала мне: «Не говори так, Пашута, за что его обижать. Будь он не бедный, не Андреев, а наша ровня и богатый, то совсем бы не то было». И помню я, как напугали меня эти слова. Я не решилась ни разу прямо спросить у нее, любит ли она вас. Вас – Андреева. Я боялась, что она мне ответит прямо: – «да». Ах, Михаил Андреевич, все вы сами перепутали, сами себя и ее загубили.

– Ее – нет, – глухо выговорил Шумский.

– И ее... Тоже. Легко ли ей теперь не видать вас. Да одно спасение всем... вам жениться на ней.

– Но это невозможно, Пашута.

– Можно, можно. Поезжайте в Петербург, старайтесь, действуйте. Вы умный человек. Все может поправиться. Не опасайтесь только, а веруйте. На барона не смотрите. Он обожает свое детище.

Шумский глубоко задумался и пришел в себя от слов Пашуты, которые она тщетно уже третий раз произносила:

– Отпустите меня.

– Ступай, – выговорил он наконец. – Но помни, Пашута, что от меня ничего не узнает ни Настасья Федоровна, ни граф. Я не хочу тебе мстить. Бог с тобой.

– Все равно конец мой в Грузине плохой будет, – отозвалась девушка грустно. – Я знаю, чую это..

XI

Шумский плохо спал ночь. Объяснение с Пашутой сильно взволновало его, и он сто раз пожалел, что ранее, еще в Петербурге, не виделся с ней и не переговорил. Впрочем, он понимал, что тогда подобного разговора и быть между ними не могло. Там он был еще озлоблен на девушку и собирался в наказание предать ее в руки Настасьи. Если Пашута теперь заговорила, высказалась, то, разумеется, потому что он ласково объяснился с ней.

Когда-то в Петербурге заявление Квашнина насчет баронессы, после его визита к Нейдшильд, мало утешило Шумского. Мнение Квашнина, что Ева любит его, основывалось лишь на одной фразе барона. Высказанное теперь Пашутой имело, конечно, гораздо большее значение. Девушка была любимицей, почти приятельницей Евы. Она не могла не знать истины, а должна была действительно знать больше, чем сама детски простодушная, наивная Ева.

Всю ночь Шумский среди беспокойного сна, в полудремоте, видел «Серебряную Царевну», и она говорила ему, что любит его. Приходя в себя, Шумский по несколько раз задавал себе вопрос: «Неужели это правда? Неужели все может еще устроиться?» Под утро он заснул крепким сном отдохнувшего или нравственно умиротворенного человека.

Проснувшись очень поздно, перед полуднем, Шумский с изумлением огляделся кругом себя и удивился, что он в Гру́зине. Он видел что-то во сне, чего вспомнить не мог, но оно очевидно, уносило мысли его на край света от Гру́зина. Он должен был сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, зачем он здесь, что привело его в «логовище зверя», как иногда называл он Гру́зино.

Вспомнив, что он приехал мстить, Шумский задал себе вопрос: «Что же будет?» Неужели зверь простит эту проклятую бабу, а он сам все потеряет, ничего не выигравши, даже не отомстивши.

Шумский поднялся, напился чаю и вышел прогуляться, чтобы чем-нибудь себя развлечь. Разумеется, он опросил тотчас трех попавшихся ему людей о здоровье графа. Они отвечали все то же слово, что и лакей, подававший чай.

– Слава Богу.

И всем трем Шумский ответил или сурово, или усмехаясь:

– Бог тут ни при чем!

Конечно, из опрошенных людей только один понял этот отзыв, смутился, заморгал глазами, и почти отскочил в перепуге от молодого барина.

Едва только Шумский вышел и прошел вдоль двух флигелей, как услышал впереди гулкий барабанный бой и вместе с ним сливающийся странный звук. Догадаться было бы нельзя, что все это значит, но Шумский, как прежний обитатель Гру́зина, знал в чем дело. На деловом дворе происходило наказание виновного. Барабанный бой изредка покрывался стоном. Не раз слышал он это еще будучи юношей, но теперь сразу сильно смутился. Ему стало страшно, дрожь пробежала по спине! Возник вопрос.

– Кого?! Что, если наказывают...

Он не додумал, как бы испугавшись мысли, пришедшей в голову.

Кого мог наказывать Аракчеев через день после их объяснения? Или кого-нибудь за прежнюю вину, или же... И Шумский опять мысленно запнулся.

Двинувшись быстро на барабанный бой, Шумский почти побежал и произнес вслух несколько раз:

– Не может быть! Не может быть!..

В ту минуту, когда он уже собирался войти на крыльцо флигеля, именуемого «деловым двором», ему навстречу показался главный повар, по имени Афанасий.

– Что это? – воскликнул Шумский, тщетно стараясь быть спокойным.

Повар снял свой белый колпак, вытянулся в струнку и, разинув рот для ответа, не знал, что отвечать, ибо не понял вопроса.

– Что это? – крикнул Шумский, от смущенья снова задавая не тот вопрос, который хотел.

– Барабан-с. По болезни графа из библиотеки приказано перенести экзекуцию...

– Кого наказывают? – с легкой дрожью в голосе произнес Шумский.

Повар замедлил ответом, Шумский схватил его за плечи и крикнул со всей силы:

– Кого? Болван!..

– Крестьянина... Не могу знать-с... В беспорядке уличен... – поспешно заговорил Афанасий. – За ночь украли у него лопату с метелкой...

Шумский подавил вздох от спавшего с души гнета, отвернулся и тихо пошел по двору.

– И я тоже сумасшедший, – прошептал он. – Разве это возможно... Разве он посмел бы?.. Конечно, посмел бы! Но тогда что же бы с ним было. Что я с ним сделал бы? Да, тогда бы, пожалуй, прямо под суд и в Сибирь.

Между тем барабанный бой длился, крик все явственнее слышался. Шумский быстро пошел прочь.

Прежде случалось ему много раз быть почти свидетелем подобной расправы Аракчеева в его библиотеке, но это не производило на него никакого впечатления. Теперь внезапно ему стало и жаль наказываемого и казалась гадкой обстановка.

– И зачем этот барабан? – вымолвил он вслух. – Скрыть от всех или заглушить крики нельзя. Да ему и не нужно укрываться. Даже не желательно. Стало быть для комедии? Для чего-то иного?

Подумав, он согласился, что вопли, сливающиеся с барабанным боем, действительно производят даже на него какое-то сугубое впечатление казни: чудилось что-то омерзительно торжественное.

Удалясь от дома и дойдя до перевоза, Шумский остановился на берегу Волхова и долго глядел на реку.

При виде парома он вспомнил, что именно при переправе сюда, стоя на этом самом пароме, он окончательно решил мысленно не предавать Пашуту. Теперь же после вчерашнего разговора с девушкой, ему казалось даже диким, как мог он собираться предать «вот на этот барабанный бой» любимицу той, которую он сам боготворит.

Бог весть почему здесь, глядя на Волхов, Шумский вдруг перенесся мыслию в Петербург и вся история его любви ярко восстала в его памяти. Однако, ясно и ярко восставали лишь факты, но их внутренняя связь, их причина и смысл были покрыты каким-то туманом.

Шумский, глядя на себя в этом недалеком прошлом, будто не узнавал сам себя, не мог уразуметь, не только оправдать все, что творил этот Шумский.

«Другой, а не этот, который вот стоит тут на берегу».

Если он встретил девушку, которую внезапно полюбил с такой силой и впервые в жизни, то каким образом он с первого же дня не пошел простым и прямым путем? Каким образом могла явиться мысль действовать злодейски, позорно и жестоко? Как решился он войти злодеем в честную семью старика с дочерью, чтобы нравственно убить обоих? И кто же явился ангелом-хранителем любимого им существа? Дворовая девушка!.. Правда, очень умная и развитая по-своему, но все же таки простая горничная и крепостная холопка.

И вот, будто в наказание, когда он очнулся от своего полубреда, сознал свое бессмысленно преступное поведение и ясно увидел, что слишком искренно, глубоко любит Еву, чтобы решиться губить ее, в эти же почти мгновения все перевернулось, запуталось и все рухнуло... Пашута спасла баронессу, но запутала все и погубила всех.

Да, всех! Никому нет выгоды от того, что он, считавшись сыном Аракчеева, стал подкидышем, подброшенным или купленным – все равно.

Одному фон Энзе выгодно это. Но ни барону, ни Еве, если она любит его, ни Авдотье, ни Аракчееву с Настасьей, ни самой, наконец, Пашуте, никому открытие тайны не принесло и не принесет счастья.

– Но какая путаница? – прошептал Шумский, не спуская глаз с серой волны широкой реки. – Какая путаница! И почему все это так было. Почему я мог решиться так действовать? Ведь я не злой, не подлый, не скверный человек? Я это чувствую. Ведь я это не другому кому, а себе самому говорю! Сам себя я никогда не обманывал. Вот теперь я глубоко чувствую, что я не злой и не скверный, а между тем, тогда я действовал отвратительно жестоко и злобно. Я приводил в страх и ужас доброго Квашнина, привел в ужас ту же крепостную девку Пашуту. В ней оказалось больше чести, больше сердца и души, чем во мне...

И Шумский, стоя спиной к Грузину, к его каменным выровненным в ряд зданиям, к дому, и к собору, окинул взором пустое и голое пространство.

Безлюдные поля, кое-где покрыты тонким снегом, кое-где желтеющие померзлыми пажитями, темный лес на горизонте под свинцовой тучкой, широкая река, серая и пустая, выходящая змеей и уходящая вдаль – все миром повеяло на него.

Ширь и тишь окрестной жизни заглянули в душу петербургского блазня-гвардейца и будто шепнули ему что-то... про себя или про него?

– Да не здесь... Да, правда. Это в Петербурге возможно, а здесь никогда бы в голову не пришло! – ответил он. – Это дурная трава на подходящей земле. Живи я в деревне, я не стал бы таким. А там, в Пажском корпусе и на службе среди товарищей-офицеров, окруженный льстецами и ухаживаньем, я стал негодяем и несчастным. Все дурное росло во мне и крепло, пускало сильные корни, а все хорошее заглохло и я теперь еле-еле чую его в себе. Я только себе самому могу теперь сказать и доказать, что есть во мне хорошее. А будь я с рождения деревенским парнишкой, а теперь крестьянином, то, конечно, был бы славным мужиком, ретивым и счастливым, довольным. И, наверное, ни разу бы не пришлось барину, изуверу Алексею Андреевичу, наказывать меня батогами под барабанный бой.

И Шумский вдруг воскликнул громко:

– Ах, матушка, матушка, не отдавать бы тебе меня лиходеям! Будь я крестьянин, я был бы теперь, конечно, во сто крат счастливее. Теперь же я, будто какой надломанный у большого дерева сук, желтый, засохший, мертвый, но висящий, не отвалившийся еще и не упавший на землю.

XII

Шумский тихо двинулся от реки и побрел, глубоко задумавшись и опустив голову, обратно в усадьбу. И только когда он был в доме, а лакей снимал с него шинель, снова мысли о действительности вернулись к нему и ему пришлось на ум спросить об Аракчееве и вообще о том, нет ли чего нового.

Перед ним стоял его любимец, гру́зинский швейцар.

– Что граф, как себя чувствует? – спросил Шумский.

Пожилой дворовый, исправлявший должность швейцара, по имени Григорий считался в Гру́зине самым умным из всей дворни.

– Ничего-с, – отозвался Григорий, тихо, вежливо, без какого-либо оттенка в голосе.

Это была его привычка разговаривать с господами и в особенности с графом. О чем бы не зашла речь, хотя бы о чрезвычайном событии, Григорий отзывался однозвучно и говорил, как журчащий ручей. Ни любви, ни злобы, ни хвалы или порицания, досады или довольства, ни какой-либо тени какого-либо личного чувства, не проскальзывало в звуке его голоса. Григорий был самая воплощенная осторожность. Шумский еще юношей часто подсмеивался над Григорием, называл его куклой, балалайкой, колокольчиком и приравнивал звук его голоса ко всем однообразным звукам, но все-таки молодой барин относился к швейцару всегда ласково и приветливо, ибо знал, что он умнее и тоньше всех остальных.

– Нового ничего нет? – спросил Шумский.

– Доктор из Новгорода приехал-с.

– Ну что же?

– Был у его сиятельства и, сказывают люди, просто беседовал с графом, так как его сиятельство чувствует себя совсем хорошо.

«Славно», хотел произнести Шумский с ядовитой усмешкой, но вспомнил, что с Григорием он никогда не позволял себе шутить об Аракчееве. Он не делал этого потому, что Григорий каждый раз на шутки или злые остроты молодого барина насчет графа потуплял глаза и каждый раз аккуратно выпускал протяжный вздох, говоривший ясно: «ты делай, что хочешь, да других-то зря не губи».

– Ну, а еще что нового? – спросил Шумский.

– Новый, сказывают, у нас будет управительский помощник.

– Вот как! Кто же такой?

– Аптекарь.

– Что-о? – протянул Шумский.

– Точно так-с. Сегодня утром его сиятельство призвали его к себе и приказали состоять в доме сначала в помощниках дворецкого, а затем обещали сделать помощником управителя.

– Почему же так? Чем он отличался?

– Неизвестно-с.

– Да он свой крепостной?

– Никак нет-с. Он всего недели с две как в Гру́зине, а откуда не могу доложить вам. Из Новгорода, что ли? Кто говорит, с Москвы. В аптеке он больше все по ночам дежурил. Парень молодой и с виду хороший. Напужался только теперь – страсть!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.